

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3

### Анна Старобинец Икарова железа

Началось с мелочей. Задерживался, иногда допоздна, – и как ни наберешь его, абонент недоступен, хотя вроде бы не ездил в метро. А дома, по вечерам – не каждый день, но все же бывало – уходил с телефоном в дальнюю комнату или в ванную и плотно закрывал дверь, «чтоб Заяц не мешал говорить по работе». А Заяц давно уже вырос и не мешал говорить. Он вообще не мешал. Сидел в своей комнате, за компьютером, в мохнатых наушниках; ему было тринадцать... Когда-то Заяц все время перебивал, и не давал звонить по телефону и смотреть телевизор, и вламывался в семь утра в спальню – он был веселым и приставучим, и постоянно хотел, чтобы они пришли в его комнату и посмотрели на что-нибудь абсолютно обычное, но почему-то его вдруг восхитившее. «Смотрите, как я поставил своего космонавта», «смотрите, как мои тигры прячутся за углом», «смотрите, как я рисую желтое солнце», «смотрите», «смотрите»... Когда они были заняты и не хотели смотреть или просто в педагогических целях его игнорировали, Заяц нервничал и начинал прыгать на одном месте. За это его и прозвали Зайцем. Теперь ему было не важно, смотрят они на него или нет, он больше не прыгал и не звал в свою комнату, но прозвище так и осталось, как напоминание обо всем, чего они не увидели и уже не увидят...

– Не впутывай Зайца, – сказала как-то она, когда он вышел из ванной с телефоном в руке. – При чем тут Заяц? Понятно, что ты закрылся там от меня.

Она ждала в ответ отрицания, раздражения, кислой мины, чего-нибудь насчет паранойи; она и сказала-то не всерьез, а так, для разминки, скорее в том духе, что он невнимателен к сыну, и к ней невнимателен, и вообще толстокожий – но он вдруг начал краснеть, как ребенок – сначала уши, потом щеки и лоб. И только потом уже – отрицание, раздражение, мина. Она испугалась.

Когда он уснул, она вошла в *социо* и набрала в поисковой строке: «Мне кажется, что муж изменяет».

У других было так же. Те же «симптомы», те же страхи и подозрения. Стало легче. Как-то спокойнее. Она не одна, и вместе они справятся с общей бедой.

К тому же ее беда пока еще не доказана.

...Прочитала совет психолога. «Если вам кажется, что муж изменяет, не бойтесь обсудить с ним эту проблему. Говорить нужно спокойно, без истерики, криков и ультиматумов, даже если подтвердятся ваши самые плохие догадки. Будьте мудрой. Не злитесь на него, посочувствуйте. Неверность – своего рода болезнь, но, к счастью, она излечима».

Совет ей не понравился, он был не по существу. Вопрос ведь не в том, как вести себя, когда «подтвердятся догадки». Вопрос в том, как вытянуть из него правду. Она вбила другой запрос: «Как узнать, изменяет ли муж?»

Сразу же вылез социо-тест: «Изменяет ли муж». Всего десять вопросов. Розовым нарядным шрифтом. На все, кроме пятого, седьмого и десятого, она ответила быстро:

1. Сколько тебе лет?

а) меньше 30      **б) от 30 до 40**      в) больше 40

2. Сколько ему лет?

а) меньше 35      **б) от 35 до 45**      в) больше 45

3. Он прооперирован?

а) да      **б) нет**

4. Он оказывает тебе знаки внимания?

а) да      б) нет

5. У вас есть общие дети?



Она ответила: «Нет».

Доставлено.

«А она?»

Ледяной шар бешено запрыгал внутри и застрял в горле. Все было ясно. Все ясно. Но зачем-то она снова ответила. «Спит». Чтобы доказать, вертелось у нее в голове. Чтобы наверняка доказать, чтобы точно, чтобы доказать точно...

«Позвони? — сообщила Морковь. — А то я скучаю».

«Сука», — написала она.

Без истерики?

Без обвинений?

...Не получилось. Зашла в спальню, включила свет, швырнула прямо в лицо телефон. Проснулся всклокоченный, припухший, нелепый, как во французской комедии. Заслонялся от света и от нее. Зачем-то прикрывал одеялом живот.

– Почему морковь?! — визжала она. – Почему, почему морковь?!

Отчего-то казалось, что это самый важный вопрос. Так и было.

– Потому что... как бы... любовь. Ну, любовь-морковь, понимаешь...

Ледяной шар, распиравший горло, соскользнул вниз, и она наконец заплакала. Он тем временем натянул трусы и штаны. Отвернувшись. Как будто стеснялся. Как будто она у него там что-то не видела.

Она сказала: катись! Он послушно стал одеваться.

Догнала уже в коридоре, вцепилась в куртку, остался.

Без истерики, повторяла она себе, без истерики, криков и ультиматумов. Сели на кухне, даже налила ему чай, как будто все было в порядке, разговаривали, она держала себя в руках, спокойно спрашивала: как давно? как часто? насколько серьезно? и что, правда любишь?.. а меня? меня-то? меня?

Он ответил:

– Тебя тоже люблю. По-своему.

«По-своему». Она слишком хорошо его знала. Мягкий характер. Он просто не умел говорить людям «нет».

– По-своему? – хрипло переспросила она.

И вдруг швырнула – хорошая реакция, увернулся – синюю зайцеву чашку. Прямо с чаем, или что там в ней было. Осколки разлетелись по кухне, бурая жижа заляпала стену многозначительными пятнами Роршаха.

...Чужие, убогие, из телевизора, пошлые, готовые фразы поползли к языку, как муравьи из потревоженного сгнившего пня. Всю жизнь поломал... Столько лет отдала... Верни мою молодость...

– Тише... ребенок, — затравленно сказал он.

На пороге кухни стоял заспанный Заяц. Босиком. В одной майке.

Еще одна порция муравьев высыпала наружу. Она не хотела, но они лезли сами:

– О ребенке раньше бы подумал, кобель!.. Когда нашел себе эту!..

– Пап, ты что... – басовито произнес Заяц, а потом закончил по-детски пискляво: – ...нас бросаешь?

«Голос ломается», — подумала она отстраненно, а вслух сказала:

– Ну что же ты. Ответь сыну, *papa*.

– Не смей, — белыми губами прошептал он, — ...его впутывать.

Вскочил, пошел в коридор, снова стал натягивать куртку; молча, трясущимися руками, долго, гораздо дольше, чем нужно, застегивал молнию.

Она кричала:

– Если уйдешь, обратно не возвращайся!

И еще что-то кричала.

А Заяц сказал:

– Зачем он нам нужен, если он с нами не хочет.

Потом она ушла плакать в спальню, а он о чем-то беседовал с Зайцем, стоя в дверях. Потом он ушел. К *своей*. К *этой*. Куда еще он мог пойти в пять утра? Но вещи никакие не взял, только телефон и бумажник.

Она отправила ему СМС: «Придется выбрать – она или мы». Ответа не было. Тогда она написала еще: «С ребенком видаться не будешь вообще». Пришел ответ: «Гуля, это шантаж». Глотая слюны, она набрала: «А как с тобой еще, сволочь?»

С утра позвонила мать, безошибочным инстинктом стервятника учуяв свежее горе:  
– Что случилось? У тебя голос плохой.

Все в порядке, сказала Гуля. Мать не сдавалась. Она все кружила вокруг да около, настаивая, предполагая, поклевывая, сужая круги, – пока не добралась до больного места:

– Игорь, да? – она по-хозяйски погрузила клюв в Гулину рану. – Бабу, что ли, нашел?

Накатила усталость, сопротивляться не было сил, она все рассказала.

– Доигрались, — удовлетворенно сказала мать. – Вот если бы ты меня уважала...

– При чем тут ты? – застонала Гуля. – Господи, при чем же здесь ты?!

– Потому что нужно слушать, что мать говорит. А ведь мать говорила, что опасно без операции. И что теперь? Доигрались в свободу личности? И где теперь шляется эта свободная личность?.. Вот посмотри на Аркадия Германовича...

...Аркадий Германович, Гулин отчим, достался матери немолодым и потрепанным, с язвой желудка, зато славно прооперированным. Вместе с матерью он прилежно вил трехкомнатное гнездо в спальном районе, мужик он был в сущности неплохой, но Гуле не нравился, потому что глупо шутил, а изо рта у него тухло пахло.

– ...и жили бы душа в душу... а теперь вот кусай себе локти, что вовремя мать не послушала... должна выполнить долг... заняться ребенком... пока не поздно... а вдруг случится... сына погубишь... помани мое слово... срочно решать... не запускать... есть прекрасный врач... золотые руки...

Гуля повесила трубку.

Была суббота. От него ни слуху, ни духу. Пыталась звонить – недоступен, эсэмэски не доходили. Весь день провела как будто в мутном аквариуме, Зайца не покормила, он сам там чем-то гремел на кухне. Сидела в *социо*. Читала про неверных мужей, про развод и про железу. Зарегистрировалась на форуме [www.jelezy.net](http://www.jelezy.net), обрисовала ситуацию, попросила совета. Народ на форуме оказался отзывчивый – накидали кучу полезных ссылок, в один голос советовали «вырезать срочно».

**gulya-gulya:** так ведь он ушел!! – в отчаянии написала она.

**4moki:** вирнецца куда он деницца

**mamakoli:** надо верить в лучшее тем более у вас есть ребенок

**feya33:** +100 если есть деть, они всегда возвращаются!

**schastlivaya\_koza:** телефон клиники скинула вам в личку. даже если не вирнетесь :(:( все равно сама сходити посмотреть для общево развитие

Вечером он пришел. Заяц не поздоровался и захлопнул дверь в свою комнату.

От Игоря пахло табаком, и спиртным, и чужой нежной самкой. Она хотела его обнять, обнимать долго и крепко, прижиматься намокшей подмышками кофтой, и волосами, и ртом, чтобы заглушить этот неправильный запах и пометить своим, домашним.

Она, конечно же, к нему не притронулась. Устало спросила:

– Зачем пришел?

Он сказал:

– Потому что выбрал.

– Кого? – спросила она, уже предчувствуя, уже торжествуя.

– Тебя и Зайца, — сказал он с ученической интонацией, как будто отвечал на уроке литературы.

Весь вечер его тошнило: слишком много выпил и намешал; подходил Заяц, петушиным голосом спрашивал, ты там как, пап; она тоже спрашивала и скреблась в дверь помочь. Заодно, на автомате, прислушивалась, не говорит ли по телефону.

Когда ему полегчало и Заяц выключил у себя свет, сели на кухне поговорить. Просил прощения. Говорил, что семья для него это все. Обещал, что изменится.

Она слушала со специальным «скучным» лицом. Потом сказала:

– Не верю.

– Почему?

– Ты вчера говорил, что любишь другую.

– Перетерплю, – ответил.

Она взбесилась. Это был неверный ответ.

– Это так, не серьезно, – послушно поправился он. – Я тебя люблю. Тебя и Зайца.

Она села к нему на колени.

Сидели долго, как раньше, как когда-то давно. Она сказала:

– Только у меня есть условие.

– ...Операция? Что за бред! Не нужна операция. Я не мальчик. Сам решу. А по моему, мне решать. Да перестань ты, никуда меня не потянет! И через год не потянет. Я себя контролирую. Не передергивай. Да не борюсь я с собой! Не звонил. А я знаю, что нет. Вот, пожалуйста, можешь посмотреть телефон. Не стирал. Я ничего не стираю! Хочешь, влезь в мою почту. Нормальное слово. Не стирал. Не общаюсь. Нет. Не скрываю. Да зачем тебе это надо?! Гуля, милая, ну зачем операция? Я же здесь, дома. Я же, Гуля, ну я же *и так* с тобой! Не понимаю. Нет, правда, не понимаю. «Перестраховаться»? Да ты хоть знаешь, как это опасно? В моем возрасте... Ты готова подвергать меня риску?! Безопасно? Это где написано? В *социо*?! А ты больше читай свое *социо*! А если там напишут, что мне из окна надо прыгнуть? Да не хочу я смотреть!..

Заставила его прочесть статью на [jelezy.net](http://jelezy.net). Очень умная, правильная статья, написана, между прочим, специалистом. Читали вместе, он возмущенно посапывал носом, ей было почти хорошо.

Она убедит. Заставит. Шантажом, слезами – не важно, это ведь все во благо, ради Зайца, ради семьи, ради него самого.

Все наладится.

Он снимет с себя грехи.

Она поймет и простит.

Главное – чтобы хорошая клиника.

[www.jelezy.net](http://www.jelezy.net)

Удаление икаровой железы: заблуждения и факты  
*читать*

Икарова железа – железа внутренней секреции, присутствует в организме человека и некоторых животных. У человека икарова железа небольшого размера (не более 2 см в диаметре), расположена в области солнечного сплетения и является *атавистическим органом*. У женщин эта железа практически атрофирована, оставшиеся фрагменты сращены с верхним *брыжеечным узлом* и отходящими от него нервами. У мужчин железа до сих пор сохраняется как самостоятельный орган. Выделение данной железой *гормонов* начинается у мальчиков в возрасте 11-12 лет и продолжается до 60-65 лет. Гормоны икаровой железы не являются значимыми для обмена веществ в организме и не способствуют работе жизненно важных органов. Однако секреция икаровой железы зачастую отрицательно влияет на человеческую *психику* и *темперамент*. Медики рекомендуют всем лицам мужского пола удалять железу. Провести *плановую операцию* по удалению икаровой железы можно как в государственной, так и в частной клинике.

В нашей клинике операция стоит недорого и проводится квалифицированными докторами.

К сожалению, недостаточная осведомленность населения о сути операции и досужие домыслы нередко заставляют людей откладывать визит в клинику и доводить ситуацию до критической. В этой статье мы хотели бы перечислить основные факты.

#### Факт №1

У животных икарова железа выполняет важные функции. Так, выброс выделяемого железой гормона в кровь хищника (волк, лисица, тигр и т. д.) запускает у него так называемый *инстинкт преследования*, то есть помогает выслеживать и загонять жертву, а также вызывает специфическую *жажду крови* непосредственно перед атакой.

Замечено, что у перелетных птиц максимальная концентрация соответствующего гормона в крови наблюдается во время сезонных *миграций* – судя по всему, железа помогает пернатым ориентироваться в воздухе при перелете через большие водные пространства или в темное время суток.

Своеобразный аналог икаровой железы наблюдается также у большинства насекомых с полным циклом превращения (например, *сетчатокрылые*) – она помогает им осуществлять *метаморфоз*.

#### Факт №2

Для человека икарова железа совершенно БЕСПОЛЕЗНА. Судите сами: человеку не нужно гнать дичь, а затем раздирать ее зубами и когтями, человек не летает ночью над морем и не окукливается :)

#### Факт №3

Для человека функционирующая икарова железа ОПАСНА. У подростков вырабатываемый ею гормон вызывает вспышки агрессии, выбросы адреналина, немотивированную тягу к риску, аффективные и суицидальные настроения и различные психические расстройства. У взрослых мужчин: тягу к оружию, тягу к риску, тягу к бродяжничеству, наркотические зависимости, супружеские измены. У непрооперированных мужчин 35-40 лет нередко наблюдается специфический «кризис среднего возраста».

#### Факт №4

Во многих странах – например, в странах ЕС – удаление икаровой железы является обязательной операцией для всех лиц мужского пола.

#### Факт №5

В нашей стране операция является добровольной и проводится на основании заявления (несовершеннолетним требуется письменное согласие обоих родителей). Однако следует заметить, что для непрооперированных лиц мужского пола существуют существенные профессиональные ограничения. Человек с функционирующей икаровой железой никогда не сможет стать политиком, врачом, педагогом, сотрудником правоохранительных органов и т. д.

#### Факт №6

Икарова железа удаляется у лиц мужского пола в возрасте от 10 до 60 лет.

#### Факт №7

Операция никак не отражается на здоровье мужчины, его половой и детородной функции.

#### Факт №8

Плановое удаление икаровой железы способствует сохранению брака, мирному урегулированию геополитических конфликтов и ядерному разоружению :)

...и распространенные заблуждения (составлены по результатам мониторинга *социо-форумов*).

#### Заблуждение №1

«Без икаровой железы я стану ленивым, толстым, тупым и нелюбопытным, буду только есть и спать».

Таким можно стать и с железой :) – и тому есть масса примеров. Статистически доказано, что прооперированные мужчины не просто не теряют интерес к жизни, но являются более целеустремленными, последовательными, ориентированными на успех и карьерный рост, чем их зависимые от гормональных всплесков сограждане.

#### Заблуждение №2

«Если удалить мужу икарову железу, он утратит способность любить и сразу меня разлюбит».

Ничего подобного. Супружеская любовь – своего рода рефлекс, она заложена в мозгу и операция никак на нее не влияет. Зато операция наверняка оградит вас от мужских измен и долгих командировок.

#### Заблуждение №3

«После операции у мужа испортится характер. Он будет мне мстить за то, что я уговорила его удалить железу, станет агрессивным».

Мужчина не будет мстить вам за то, что вы сделали его жизнь спокойнее и проще. Характер прооперированных мужчин, как правило, не меняется, а если и меняется, то в лучшую сторону. Мужчина становится более домашним, ласковым, проявляет заботу о доме и детях, интересуется кулинарией, телевидением, интерактивными *социо*-путешествиями и *социо*-играми.

#### Заблуждение №4

«Удаление икаровой железы – это грех. Я слышал(а), что икарова железа – это все равно что душа. Если ее удалить, то после смерти человека его душа не сможет отправиться в рай».

Это антинаучные суеверия, распространяемые сектой *икароборов*. В действительности икарова железа не имеет никакого отношения к религиозным верованиям и загробной жизни. Не имеет она отношения и к «душе». Судите сами: неудаленная железа умирает вместе с телом и в нем остается, а не возносится к небесам (спросите патологоанатома :)).

Кроме того, наличие икаровой железы у многих кровожадных (шакал, волк, гиена), безжалостных (росомаха, стрекоза) и попросту неприятных (гусеница) существ однозначно опровергает нелепую икароборскую теорию «железы как искры божьей».

Заметим, что в развитых цивилизованных странах, таких как Британия и Франция, икароборы являются запрещенной сектой.

#### Заблуждение №5

«После этой операции часто бывают осложнения».

Нет. Операция по удалению икаровой железы относится к категории простых и в 99,9% случаев проходит без каких-либо осложнений.

#### Заблуждение №6

«Я боюсь удалять железу, потому что мне будет больно».

Операция совершенно безболезненна. Более того, она не полостная и неинвазивная. В течение нескольких минут доктор облучает икарову железу специальным лучом (все, что вам нужно сделать – это раздеться до пояса, чтобы обнажить область солнечного сплетения). Затем в течение трех (3) дней икарова железа отмирает сама. Процесс необратим. Прооперированный пациент в эти дни нуждается в *специальном уходе* (см. раздел «постоперационный уход»).

#### Заблуждение №7

«Моему соседу/брату/свату вырезали железу, а он все равно изменяет жене. Значит, железа вырастает повторно?!»

Не значит. Икарова железа НИКОГДА не восстанавливается. Крайне редко после операции в солнечном сплетении могут остаться «живые» фрагменты железы, которые приходится удалять повторно. Такое бывает только в случае низкой квалификации проводившего операцию врача. В нашей клинике подобное не случилось никогда.

Решилось просто. Грустно и просто. Через два дня он сорвался. Позвонил своей *этой*, не выдержал. Гуле сказал, что пойдет покурит на лестнице. Она не курила – но вышла через минуту за ним. Почувствовала.

Не стала мешать, убедилась, что он понял, что она поняла, и тихонько ретировалась обратно. Вернулся с побитым видом.

И сам сказал:

– Хорошо.

Зайцу решили сообщить уже после, по факту.

Клиника была чистенькая, опрятная, персонал весь улыбочивый. Ждали в коридоре, листали журналы, перед ними была одна молодая пара и подросток в сопровождении матери. Молодые все время перехихикивались и целовались с утробным чавканьем. Жених с невестой, наверно; перед свадьбой многие оперируются.

Подросток сидел, ссутулившись, и ковырялся в своем социоподе. Выражение у него было из серии «мне все пофигу», но ноги, если приглядеться, дрожали. Мать листала журнал «Все в дом».

Игорь белый был и молчал, руками вцепился в подлокотники кресла, как будто он в самолете, а самолет падал.

Наконец вызвали. Оказалось, сначала нужно к психологу. Зашли вдвоем. Психолог резиново улыбался и в глаза не глядел.

– Какие вопросы? — спросил он Гулину переносицу.

Вопросов у нее, в сущности, не было. Из вежливости и для порядка спросила, не отразится ли на здоровье, на трудоспособности.

– Ни в коем случае не отразится, – с воодушевлением ответил психолог, в зрачках его мерцали бусинки скуки. – Наоборот. Вот лично я после операции простужаться стал реже. И устаю меньше. Одним словом, на здоровье не жалею!

Она взглянула в его кукольное лицо, довольное и здоровое, потом невежливо оглядела фигуру – крепенький, но не толстый. Не растолстел.

– Обмен веществ никак не страдает, – психолог перехватил ее взгляд. – А вы, Игорь, что же отмалчиваетесь?

– У меня нет вопросов. Я подпишу, что там надо, – сказал Игорь бесцветно.

– Э-э-э, да это что ж это вы, – психолог весело погрозил пальцем. – Как будто завещание писать собрались! Давайте-ка... Гуля, да? Давайте-ка, Гуленька, вы пока выйдите, в коридорчике подождете, а мы тут с вашим супругом поговорим по-мужски.

Она испуганно поднялась – не дай бог все отменится? – но психолог был парень грамотный, незаметно так подмигнул – мол, не волнуйтесь, хуже не сделаю. Она ушла.

Психолог выдержал паузу, потом доверительно, уважительно даже спросил:

– Что, измена была?

Игорь кивнул.

– Жена настояла? На операции-то?

Снова кивнул. И добавил:

– У нас, понимаете, Заяц...

Психолог недоуменно напрягся.

– ...ну, мы так называем ребенка.

– Понятно, – психолог неодобрительно покачал головой. – Не прооперируешься – не увидишь ребенка, так?

– Так.

– Стандартная манипуляция. Нехорошо.

Трепыхнулась надежда: неужели отсоветует удалять?..

– Ну а та что, другая?

– Другая, — Игорь устало прикрыл глаза, – сказала: уйдешь ко мне, я тебе десять рожу... И под нож никогда не отправлю.

– «Под нож» – это что значит? – психолог недоуменно наморщился и стал похож на ученую обезьянку.

– Она имела в виду операцию.

– Ах, вот оно... – лицо его мгновенно разгладилось. – Ну, мы ножи не используем! Что за страшилки такие? У нас неинвазивная техника...

Он помолчал, с интересом глядя Игорю в лоб. Словно пытаюсь найти следы от лоботомии.

– Манипуляция, – сказал он наконец. – И с одной, и с другой стороны – манипуляция. Вы не свободны. Вы, Игорь, человек несвободный. Зависите от женских истерик, от своей железы, от гормонов. Гормоны и женщины решают за вас. Не пора ли освободиться?

– Но разве... – Игорь встряхнул головой, чтобы согнать со лба назойливый взгляд. – Разве после *этого* я смогу выбирать?

– Вот только после *этого* вы и сможете выбирать. Решать, чего вы сами хотите, – он протянул клиенту бланк заявления. – Заполните в коридоре.

– Спасибо, до свидания, – клиент суетливо, как курица, засеменил к двери.

– Марионетки, – подумал ему в спину психолог. – Ограниченные, несвободные люди. У них виски уже седые, а они только идут удалять.

До дома смог дойти сам и даже водички попил – обедом запретили кормить, – но потом сказал:

– Что-то... пойду прилягу.

Лег на спину и остался лежать.

Она знала, что будет так и бояться не стоит. Доктор дал ей подробные инструкции, все расписал на бумажке, и для верности она еще полазила в *социо*.

Три дня, пока отмирает железка, будет лежать на спине неподвижно. Это нормальная реакция организма на изменение гормонального фона. Глаза будут открыты. Моргать не сможет.

*увлажнять слизистую глаз каплями «искусственная слеза» каждые 1,5-2 часа  
свет в комнате должен быть приглушен*

Будет мерзнуть.

*хорошо укрыть, к ногам приложить теплую грелку*

Будет нуждаться в жидкости.

*во избежание обезвоживания выпаивать кипяченой водой из шприца каждые 2-3 часа*

Будет ходить под себя.

*для опорожнения мочевого пузыря и кишечника использовать памперсы для взрослых; менять не реже 1-2 раз в день*

Она все делала по инструкции, очень ответственно.

– Он что, умер?! – Заяц вернулся с занятий. — Папа умер? Мой папа умер?

Он включил свет, смотрел в распахнутые стеклянно-голубые глаза и подбородок его мелко дрожал.

– Ну что ты, что ты... – она улыбнулась и щелкнула выключателем.

*свет в комнате должен быть приглушен*

– ...У него просто была операция...

– Операция... *та?* – Заяц машинально заслонил руками живот. – Та, которую он не хотел?

– Мы решили, – строго сказала она, упирая на *мы*, – что так будет лучше. Операция безопасная...

Заяц пошел к себе, не дослушав.

Она все делала по инструкции, все три дня, а Заяц не помогал. Сидел в *социо*, жрал какие-то чипсы, выходил только в туалет и на нее не смотрел.

На третий день утром столкнулись в кухне. Она сказала:

– Заяц, ты бы хоть поздоровался...

Процедил «здрости», сплюнул прямо в раковину с невымытой посудой и ушел к себе в комнату.

На третий день днем он очнулся.

Застонал, попробовал встать, стошнило, упал обратно, закрыл глаза и заснул, она все убрала.

Через час встал с постели и куда-то побрел, глаза все в красных прожилках, не узнавал, молчал и шатался как пьяный. Вышел Заяц, наблюдал, прикусив губу, не дыша, потом шарахнулся в угол и тоненько заскулил. Хотела утешить – махнул рукой и пропищал «котойди».

Услышали звук – как будто в ванной что-то упало – побежали туда вместе с Зайцем, нашли его, спящего, на полу. Оттащили обратно в спальню. Уложили, укрыли. Заяц сказал спокойно:

– Что ты с ним сделала.

А в принципе все было вполне в рамках нормы, не хуже, чем у других. Вот и в *социо*...

**mamakoli:** отходняк бывает тяжелый у них. мой шатался, рвало, засыпал на ходу. ночью что творил – сказать не могу! зато с утра потом – как огурчик

**schastlivaya\_koza:** сразу как просыпаются тяжело им. нужна забота, тепло. Любите своих мужчин! дарите нежность и уважение, вособенности на третью ночь. и все будет ок!

**4moki:** 3 ночь это жесть. не подпускать к окнам!!! и слидите как дышет.

Про третью ночь доктор тоже предупреждал. Типичный психоз – *они хотят вниз*. Как можно ниже. Инстинкт самосохранения не работает. То есть вот окна, балконы — все закрывать, загораживать, чтобы не выпрыгнул... А если частный дом — может пойти спать на земле, это тоже опасно: сейчас не май месяц, обморожение, почки, простата, ну, вы понимаете... Она понимала, но у них дом был не частный. И девятый этаж. Она загородила балкон табуретками, одна на другой, чтобы загремели, если попробует подойти. Все окна зашторила, а на шпингалеты подвесила колокольчики, даже в Зайцевой комнате.

Решила не спать. Но он вроде бы посапывал так хорошо, ритмично, уютно, и этот уют ее убаюкал...

...Проснулась от грохота, босая побежала в гостиную – так и есть, табуретки!

Он был на балконе. Не прыгал вроде бы, нет – но вниз смотрел, свесив голову.

– Ты что тут делаешь? – закричала она. – Игорек, Игорь, господи, ну ты что же тут делаешь?!

Как будто проснулся. Посмотрел на нее удивленно. Зашаркал послушно в спальню, улегся, мгновенно уснул.

Явился Заяц, шепотом то ли спросил, то ли объяснил:

– Он хотел покончить с собой.

Она разозлилась, зашипела, стараясь тихо, чтобы не разбудить:

– Что за бред ты несешь?! Я же говорила тебе, они хотят вниз. Такая реакция на операцию...

– Врешь.

– Ты... что это?.. Да ты как с матерью?..

Заяц ушел. Она с отвращением заметила, что говорила о себе в третьем лице. И в этой чудовищной старославянской манере, как ее собственная мать. Мать-сыра-земля. Матерь. Праматерь...

Снова – тяжело, будто сверху засыпали землей – начала погружаться в сон. С усилием выбралась, как из свежей могилы, и потом уже не спала. Вдруг снова к балкону пойдет. Или к окну. И потом, в эту третью ночь у них еще бывает апноэ. Остановка дыхания.

*просто забывают дышать – ну, знаете, как младенцы*

Она прислушивалась. Но дышал он мерно и ровно. И больше не вскакивал.

Утром начал узнавать, говорить. То есть молчал, но если спросишь его: «Игорек, ты меня узнаешь?», отвечал: «Конечно, ты Гуля».

– А это кто?

– Это Заяц.

Сразу стало спокойнее. Но Заяц почему-то заплакал.

Потом – много дней – было плохо.

Если не спал, то сидел часами, часами, уставившись в стену. Когда скажешь ему: вставай, переседь – вставал, пересаживался. Скажешь: ешь – все съедал. Обними! – обнимал. Не скажешь – не шевельнется.

Телевизор включали – вроде, смотрел. Но если выключить – продолжал смотреть в темный экран, как будто без разницы.

Заяц садился с ним рядом, брал за руку, потом перестал. Сказал однажды, грубо и зло:

– А че с ним сидеть? Ты его все равно что убила.

Она и сама понимала: что-то неправильно. Что-то пошло не так.

Полезла в *социо*: «муж изменился после удаления железы» – и вдруг пооткрывалось такое... Она не видела этого раньше. Не читала, не знала. Она ведь делала раньше другие запросы в искалке...

**tatusik**: прооперировались, теперь всей семьей жалеем. стал какой-то бессмысленный. спит все время и жрет.

**vampiressa**: помогите! сын не восстанавливается после плановой операции. Общая слабость, апатия и в полной депрессии. говорит ничего не хочу.

**неизвестный пользователь**: девочки, послушайте умный совет, не делайте никогда этого!! без железы муж стал злым, агрессивным. весь день орет на меня и детей. Ссыт мимо унитаза специально.

Агрессивным он не стал, нет. Ни малейшей агрессии. Но апатия, безразличие – это да.

*спит и жрет*

*ничего не хочу*

Неужели так все и будет?!

Купила фильм – пронзительный, грустный – любимого режиссера. Смотрел внимательно.

– Понравилось?

– Да.

– А что понравилось?

– Игра актеров. Сценарий.

Она опустила перед ним на колени. Взяла в ладони лицо.

– Ты прости меня...

Будто не понял:

– За что?

– За то, что я с тобой сотворила.

– Да ничего. У меня уже не болит.

- А что, болела? – она потрогала его живот там, где была железа.
- Конечно, болела.
- У нас же есть кетанов, анальгин... Ты почему не сказал, что болит?
- Я говорил.

У нее вдруг сжалось выше пупка. Там, где солнечное сплетение. Где ее атрофированные, сросшиеся с нервными стволами остатки...

Она заплакала. Он чуть заметно поежился, как будто на сквозняке.

Так было стыдно, жалко, непоправимо, что готова была на все. Даже отдать. Вернуть *той*, гадине, если только это поможет. Ведь так бывает. Ведь пишут, пишут, что «после операции все равно изменял»... Еще читала, что все-таки иногда вырастает заново. А может быть – и очень даже вполне – что там остались еще *фрагменты*. Живые фрагменты – и если дать ему шанс, он, может быть, еще оттаает, еще отойдет...

Звонила врачу – сказал, не волнуйтесь, подождите, наладится.

Ждать не могла. Смотреть на него не могла – как он сидит, с журналом в руке, и час, и два, *не листает*.

Взяла его телефон – разряженный, выключенный, как он сам – зарядила, включила. Нашла ее номер. Морковь. Потому что любовь. Чтоб ты заживо сгнила, овощная культура...

Позвонила.

– Да?! – *та* ответила сразу; голос свежий и звонкий.

Не чувствуя губ, не чувствуя языка, представилась, сказала, Игорю плохо. Сказала – можешь прийти, увести, отпущу, если он только захочет.

– Когда зайти? — спросила Морковка, нахально, будто договаривалась с его секретаршей.

– Да хоть сегодня.

В тот же вечер пришла.

Такая юная – господи, да ей девятнадцать! – и так некстати нарядная. Как будто в театр. Глубокий вырез, черное что-то там, обтягивающее, блестящее, тонкое. Смешная мордочка, как у глазастого пушного зверька. И эта шея. Такая длинная шея.

Что было делать с ней – непонятно.

– Да вы входите...

Усадила за стол.

Сидели молча, как на поминках, все четверо. Была нарезка – ветчина, колбаса и сыр. Никто не ел, кроме Игоря. Ни на одну из них не смотрел.

Зато Морковка смотрела на него, на него – и было заметно под этим обтягивающим, как колотится сердце.

– Хотите кофе? – пробасил Заяц.

Гуля вздрогнула. Она про него и забыла.

А Заяц – Заяц ее сидел, оказывается, весь красный, и поедал эту Морковку глазами. Цепочку с крестиком, ускользавшую в вырез. И шею. И твердые, обтянутые черным, сосочки.

– Спасибо, кофе было бы хорошо, – улыбнулась тварь.

Заяц вскочил и ломанулся на кухню. Гуля смотрела вслед.

Какая-то новая, незнакомая ревность толкнулась внутри, как ожидающий рожденья младенец.

– Ну что, пойдешь с ней? — спросила мужа, пока Заяц возился на кухне.

– Куда?

Она съязвила:

– Что, адрес забыл?

– Пойдем со мной, да, Игорь, пойдём?.. – как песня сирены.

Как заговор на любовь. Как колыбельная на ночь. Этот голос, тихий и вкрадчивый, он обещал ему жизнь. Он обещал ему пот, и громкие удары в груди, и кислый привкус на языке, и пахучую слизь, и горячую женскую хватку. Она понимала, его жена понимала, что предлагалось ему. Подумала с ужасом: сейчас согласится.

Вернулся Заяц с кофейными чашками.

– Я не пойду, – сказал Игорь. – Прости. Мое место с семьей.

Она смотрела в деревянное родное лицо и пыталась по-прежнему чувствовать стыд, а не эту злорадную щекотку победы.

А *та* ушла, такая нарядная, тонкая овощ, а Заяц дал ей с собой упаковку бумажных платков.

Потом вернулся за стол и сказал:

– Обоих вас ненавижу.

А потом вдруг – наладилось. Где-то дня через два, прямо начиная с субботы.

Проснулась утром — а он принес кофе. И маленький теплый бутербродик с помидором и сыром.

Дождался, когда допьет и доест, и подлез к ней под одеяло.

– Ты хочешь снизу или сверху? – спросил.

Она сказала:

– Сначала так, потом эдак.

...И не сидел больше, уставившись в точку, всю посуду помыл. А после обеда смотрели вдвоем сериал про вампиров, пугались, смеялись.

А Заяц – только лишь из упрямства, лишь бы не признать правоту – все повторял, что ничего не наладилось. Что он все равно «ненастоящий» и «неживой».

Игорь не обижался. Шутливо таращил глаза, вывешивал мягкий язык, страшным голосом шепелявил:

– Я зомби, я зомби...

Зайцу не нравилось. Взбесился, ушел.

Среди ночи вернулся в крови и пьяный.

– Доигрались! — ахнула Гуля.

Разговор завела исподволь, издалека. В том духе, что с ребенком творится неладное. Переходный возраст. Опасно. И, может быть, все же... Нам стоит подумать... О плановой... ну...

Боялась закончить. Боялась реакции.

А реакция была замечательная.

– Оперировать обязательно, – сам сказал! – А то мало ли. С железой неспокойно. Тем более в его возрасте.

Записали на через два дня. Сообщили похмельному Зайцу.

И тут началось.

Визжал, бился: не хочу операцию! Пытался, прямо голым, сбежать. Куда-то звонил, кого-то просил, за ножи и вилки хватался. О боже, господи, да они ведь совсем его, совсем запустили... И как давно он в таком состоянии?... Повезло еще, что жив до сих пор. Нет, время не ждет. Удалять, срочно, срочно!.. Перезаписали прямо на завтра.

На ночь Зайца пришлось запереть в его комнате. Жестоко – во благо. Потому что он был не в себе и мог преспокойно сбежать, неизвестно куда, в ночь.

Она страшно устала. Мешки под глазами.

– Ты иди, поспи, – сказал Игорь.

Она пошла. С ног валилась.

Он сидел в гостиной, включил ноутбук, поехал в социо-путешествие в Африку. Заяц бился в дверь – его комната была смежная – и орал, что нужно в сортир.

– Там горшок у тебя, — сказал Игорь.

Он порывлся в останках древних людей *гоминид*, побродил-погулял, ткнул в *Вельвичию*, эндемик пустыни Намиб.

*отрацивает два гигантских листа всю свою жизнь (более 1000 лет)* – объяснило социо.

*корни уходят на глубину до 3 м; растение способно выжить в сухих условиях, используя росу и туман как источник влаги*

– Открой дверь! — орал Заяц. – Открой, открой, открой дверь!

Вельвичия понравилась Игорю. Она была похожа на морковку с двумя длинными зелеными ушами.

– ...Не откроешь — я в окно выпрыгну!

...Игорь смотрел, как берберские женщины ткут цветные ковры... Манипуляция.

– ...Клянусь, выпрыгну!

Примитивная манипуляция...

В Зайцевой комнате с треском распахнулось окно; коротко икнул колокольчик. Потом все затихло.

Дверь нельзя открывать, решил Игорь. Откроешь – он еще убежит. Ведь вряд ли выпрыгнул. Скорее всего, притаился. Ждет, что открою. Сейчас опять завопит.

Но Заяц больше не завопил.

Проверить надо бы, – думал Игорь. Но в гостиной балкон – не на ту сторону, не увижу. На улицу придется идти. На улице холодно. Одеваться, застегиваться, спускаться, обходить здание... Лень и холодно.

Решил не идти.

Ведь Заяц, скорее всего, просто спал.

## **Борис Екимов**

### **За теплым хлебом**

В пять утра зазвенел будильник, но прежде его петушиного гласа встала бабка. Она уж из печи выгребла и затопила ее, когда затрещал будильник и поднялся со своей кровати дед Архип.

- Ну как там, не потеплело? - спросил он.

- Не чутко, - со вздохом ответила бабка.

Дед Архип валенки надел, стеганку и вышел из дома. В первую минуту, с избяного тепла, ему показалось, что на улице теплее вчерашнего.

Еще стояла глухая ночь. Чернели по белому снегу базы да сараи. Студеное небо светило просяным звездным инеем, а посреди - одинокая Жарничка горела льдистым огнем.

Архип пошел на улицу. Перед самыми воротами дорожка была переметена рыхлым снегом. Значит, не во сне, а наяву бушевал ночью ветер. И теперь дорогу на станцию тоже перемело и утреннего автобуса не будет. Зябко поеживаясь, Архип заспешил домой. А в доме уже печь гудела ровным огнем.

- Дюже тепло? - с усмешкой спросила бабка. - Телешом можно?

- Да потеплее... - неуверенно ответил Архип.

- Не брещи... - мягко укорила, жена. - Вон на окошке вторые шипки позамерзали, а у тебя все теплеет, под носом. Уж не ездил бы, переждал погоду. Да и праздник завтра. Добрые люди в праздник по домам сидят, не шалаются.

- А тама будут нас ждать? - указуя коротким толстым перстом в потолок, спросил Архип. - Пока мы отпразднуем? Да пока потеплеет? Тама тогда народу налетит... Туча черная... Тришкина свадьба...

Бабка в ответ лишь вздохнула.

- Вот так-то... - закончил Архип. - Надо собираться, ехать. На автобус я уж не рискую. Вчера не было, а ныне и подавно. Уж развиднеется, тогда и тронусь. Пойду дозоревывать.

И Архип снова забрался в постель. Он уже вроде не спал, просто подремывал, временами проваливаясь в зыбкое забытье и тут же возвращаясь в явь. "А может, и пойдет автобус, - думалось ему. - А я разлеживаюсь. Сейчас уж, гляди, на центральную пошел. Крутанется - и назад. Добрые люди уедут. А может, и не пойдет. Вчера и в тот день не ходил, а нынче и вовсе мело..."

Хутор, где жили дед Архип с бабкой, лежал в тридцати километрах от райцентра. По летнему да сухому времени были те километры недалекими, тем более что дважды в день, утром и вечером, пробегал через хутор маленький шустрый автобус. После легкого дождя автобус ходил лишь по грейдеру, боясь увязнуть в хуторских колдобинах. Но то еще была не беда: до грейдера и пешком можно добраться, четыре версты всего. А вот непогода напроць обрезала крылья. Осенняя ли весенняя долгая грязь, зимние глубокие снега да переметы, ставили автобусы на прикол. И тут уж выбирайся, как говорится, своим средством. А лучше всего сиди и не рыпайся.

Деду Архипу сидеть было никак нельзя. В прошлом году он угля не достал и нынче дожигал остатнее. И совсем было приготовился на дровах зиму бедовать, когда узнал о постановлении. Сначала в конторе услышал, а потом газеткой раздобылся. В газете все было написано так, как и добрые люди говорили: льгота выходила бывшим фронтовикам, облегчение в жизни. И в конце напрямик было писано: "проявлять постоянное внимание". Эти слова дед Архип теперь уже наизусть помнил.

Почитал старик газетку, с бабкой и другими людьми посоветовался и решил: надо в район ехать и добиваться топки, пока закон вышел. Прямо с нового года идти, не тянуть. Кто рано встает, тому бог дает, и кто раньше спохватится - легче будет.

Первые дни января Архип годил, давая людям отпраздновать да после праздника похмелиться. А потом завернул мороз с ветром, дороги в низинах перемело, и вот уже третий день не было автобуса. Два раза ходил Архип на грейдер, но попусту. И сегодня накрепко решил Архип домой с грейдера не ворочаться. Хоть на чем, да уехать. Дело было нешуточное: без угля зимовать тяжело.

Время подошло к семи. По радио из области начали передавать последние известия, Архип уши наострил, голос у приемника поубавил, чтобы бабка не слыхала. "По северу области до тридцати..." - наконец обрадовала дикторша.

"И-и, глупая, - попенял ей дед Архип. - Заталдычила одно..."

- Чего там бубнишь? - спросила бабка. - Сколько объявили?

- Чего сколько? - притворился непонимающим дед Архип.

- Не придуряйся... Про погоду чего сказали?

- А-а, слушать их... - пренебрежительно ответил дед Архип. - Они здесь были, на хуторе? Видели они нашу погоду? Сидят в тепле, поустроились и брешут.

- Померзнешь на сухарь, - вздохнула бабка.

Архип наскоро умылся, сел к столу. Бабка принесла с печи в полотенце завернутый горячий хлеб. Привозили хлеб на хутор редко, особенно в непогоду, но люди приспособились. Черствую буханку заворачивали в полотенце, в широкую кастрюлю наливали воды, ставили миску, а в нее хлеб. Вода в кастрюле кипела, под крышкой хлеб отпаривался, становился волглым, мягчел.

Выпив стаканчик самогонки, Архип принялся щи хлебать. Жена сидела рядом, вздыхала.

- Ныне-то уж не вернешься... - сказала она;

- Дал бы бог добраться. А на ночь-то глядя... Уж завтра.

- У Василия ночуешь?

- А где же...

- Сон мне нынче привиделся, а к чему - не приложу, - задумчиво сказала жена. -

Маму видала. Мама хлеба печет. Вынимает, хороший, такой хлеб, чую - сладкий, и так мне хлебушка хочется. А она не дает. Я прям слезьми кричу: мамушка, родная, ну дай хоть кусочек, хоть чуток. А она не дает. А мне так хочется... Такой у него дух, прям донельзя сладимый. Почему не дала? - спросила бабка. - Либо чем обидела ее, не так помянула? Прям в голову не возьму.

- Солонечиху поспрошай, - усмехнулся Архип, - она разложит.

- Придется, - всерьез ответила жена. - Ты дюжей ешь. Щи и мясо. Я тебе и самогонки для этого дела налила. Дюжей наедайся, а то померзнешь.

- Не замерзну, - успокоил ее Архип. - Как пододенусь, нехай тогда...

Оделся он, как всегда, по-зимнему, по-стариковски: теплое белье, телогрейку и ватные брюки, валенки, овчинные рукавицы. Но теперь, в дорогу, он надел поверх всего зеленый плащ-"болонью". Его когда-то сын за ненадобностью бросил. Но старикам плащ пришелся по нраву и впору. Он был легкий и плотен, ветра не пропускал.

- Ну, оставайся тут с богом, - сказал Архип.

- Ты там не задерживайся, - ответила бабка. - Праздник находит, а я - одна. И сон, видишь, какой нехороший видала. Родная матушка хлеба не дала. А уж так хотелось...

Из своего двора вышел Архип ровно в девять часов. В эту же пору на центральной шоферы в гараж приходят. Пока они машины разогреют да соберутся, гуда да сюда, пока тронутся, Архип к грейдеру подгребется. Вот и получится впору.

Красное с морозу солнце только что поднялось. Багровые дымы редким лесом вздымались над хутором; легко, словно тоже с морозцу, розовело небо, и вся глубоким снегом полоненная окрестность, и даже сороки, молчаливыми стаями сидевшие на деревьях, даже сороки отдавали розовым.

Особо не надеясь, а просто на всякий случай, завернул Архип на колхозный двор. Ехали две машины на станцию, за комбикормом, но с шоферами сидели грузчики. Больше ничего не предвиделось.

Дорога от хутора к грейдеру лежала прямая, торная, снегом ничуть не занесенная. Одет был Архип тепло, легкой была амуниция, тела не вязала, и потому шагалось хорошо. Мороза он особого не чуял, но в лицо дышала стылым холодом белая степь. Куржак кучерявился по краям шапки-ушанки. И время от времени Архип рукавичкою тер нос и щеки, чтобы не познобить их.

День, судя по всему, должен выдаться удачным. Машины, конечно, пойдут, никуда не денутся. Так что добраться в район можно будет. И с углем должно выгореть, не зря ж в газете написано черным по белому. Эту газетку прихватил с собой дед Архип на всякий случай. Раз вышло такое указание, значит, и приказ из Москвы пришел: помогать всемерно. И уж чем-чем, а топкой помогут.

Тем более зима такая стоит. И собрался он сразу, вовремя сообразив что к челу. Тут ведь тоже политика, Архип ее понимал: первым надо прийти, пока гуртом не полезли. Архип это понимал и радовался своей смекалке. Может, даже сегодня прикатит он в хутор с углем, прямо на машине. может, и завтра.

Завтра, конечно, повернее. Нынче запишут, а завтра велят прийти. Так всегда бывает. Переночует он у племянника Василия. Вечером посидит с ним, бутылочку выпьют. Василий - человек грамотный, с ним и потолковать не грех. Посидят, побеседуют, А уж завтра, с углем, придет Архип домой.

Так, в добрых мечтаниях и по ровной дороге, добрался старик до грейдера. А на грейдере, возле кирпичного строения автобусной остановки, толпился народ.

- Здорово живете, добрые люди, - поднимаясь на полотно грейдера, весело проговорил Архип. - Заждались меня? Я вот он, прибыл. Теперь шумите, нехай машины едут.

- Шумим с ночи, - здороваясь, ответил знакомый из Вихляевки, - а они либо поглотили,

- Не было автобуса?

- Был бы - уж уехали.

- Какая беда, - огорчился Архип, а в душе похвалил себя, что не пошел впотьмах, удержался.

Народу у остановки собралось немало. Стайка молодежи табунилась подле черного, прогоревшего кострища. Пальтушки на них были всякие: и добрые, и продувные, а прочая сбруя: брюки, юбки да чулки, а тем более обувь - никудышные. Оттого и на месте им не стоялось: топотили да бились "на любка" - грелись. Знакомый из Вихляевки был с дочкой.

- В техникум провожаю, другой день не провожу, - объяснил он Архипу. - Харчей наклали, одна не дотянет. Другой день выходим.

- А эти ребята либо тоже ученики?

- Кто откуда. С техучилища, школьники. Дубовские большинство да наши. Моей-то край надо, экзамены сдает.

- И прямо с ночи стоите?

- А то как же... Ныне в четыре поднялись, в полшестого здесь были. Вот и стоим дожидаемся.

Народ собрался свой, с ближних хуторов, с Вихляевского, Тубы, с Малой Дубовки. Архип пошатался от одного к другому, поздоровался. От Малой Дубовки показались пароконные сани.

- Вот и уедем! - обрадовался Архип. - Посадимся и айда!

- Да-а, сейчас на лошадях далеко уедешь.

- А как же бывалоча в старые-то времена?

- В старое время лошади были да и одежда. Тулуп, добрый надеть, тогда и конечно. А эти куда? - показал мужик на ребят да девчат.

- Да и тебя в твоей телогреечке быстро просифонит.

- Это верно, - согласился Архип.

Тем временем подъехали сани. Кроме кучера, сидели в них две женщины, укутанные ковровыми платками. Заиндевевшие лошадки ткнулись к будке; возница бросил им соломы и баб начал ссаживать. Одна была помоложе, с огромной, одеялом обмотанной ногой. Архип тут же к ней направился.

- Здорово живете. Это чего с тобой сделалось?

- Да ногу поломала. В гипсе. Теперь вот ехать надо. Велели приехать. Может, сымут.

- Какая беда... - заохал Архип.

Молодые ребята решили соломой с саней подразжиться, чтобы костер запалить. Но возница их вовремя заметил.

- Куда тянете?

- Посогреться... Соломы, что ль, жалко?

- Я не для вас клал. Лошадям да сидеть. А соломой все одно не согреетесь. Лишь пыхнет. В лесополосе вон, хворосту наберите. Молодые, да ленивые.

Ребята его не послушались, за хворостом не пошли, а подожгли охапку все же унесенной соломы. Сгрудились над невысоким пламенем. Кто руки к огню тянул, кто распахнул одежку, чтобы тепло телом почуять. А кто промерзлые башмаки грел над пламенем.

- Гляди, штаны загорят, - остерег Архип.

Но штаны сгореть не успели. Пламя быстро угагло.

И наконец-то послышался гул, далеко, но явственно. От центральной усадьбы по грейдеру шла машина. Все разом стали выглядывать да гадать: одна ли машина идет да какая. Поклажу из кирпичной будки разобрали. А оказалось зря: зеленая "скорая помощь" с центральной усадьбы прошла и не остановилась. Правда, была она битком набитая. И через стекла видно, и шофер по горлу себе ладонью провел; дескать, полно, И укатила машина дальше.

- Твою мать... На центральной, как короли, живут, понасадились.

- Да можно бы еще взять, не схотел.

- Хозяин...

А в следующую минуту головы повернулись к той дороге, которой пришел Архип. Оттуда гудело. И скоро вылетели из-за лесополосы два "газона" - самосвала. Выскочили они на грейдер и встали передом к станции, куда и направлялись. Это были те самые машины, что за кормами шли. В кабинах у них, кроме шоферов, грузчики сидели. Тут и проситься было некуда. Но минут десять спустя от центральной усадьбы еще три грузовика подвалило. Тоже на станцию, за кормами.

Начался тут гвалт и содом. Все разом бегали и просились, а проситься особо было некуда. В кабину много не поместишь, Да там уж и сидели. Уехали девчонка-студентка и двое мужиков. Хотели женщину уважить, с гипсом, да она не влезли. Молодняк в кузов просился, но шоферы их не взяли. И правильно сделали. По такой погоде в кузове не ездят.

После того как ушли машины и долго гудели, поднимаясь в гору, и долго чернелись на белом снегу, после того как затихли они, настроение упало.

Каждый думал про себя, что и, он мог бы сейчас ехать в кабине уже далеко отсюда и скоро прибыть на место. Тут еще "козел" проскочил, не остановился, за ним "Москвич", полный. Бабы прижухли под убеленными инеем платками.

Мужики стали ходить по дороге взад и вперед, набирая тепло. Архип тоже прошелся. Ветерок хоть и легкий был, но лицо прихватывал; оно дубенело, а в затишке

горело огнем. Молодежь притихла, ребята, не переставая, курили, Наконец их совсем допекло.

- Костер давай! Согреемся!

И они стайкой скатились по откосу, по колена и выше увязая в мягком снегу, и стали по лесополосе собирать сушняк, ломать сухие ветки. Потом соломкой разжились, нашли газету и долго разжигали огонь. Руками уже не владали.

К костру подошли и бабы. И тут Архип разглядел, что старая женщина под тяжелым платком - его давняя знакомая, Феня Чурькова. Она лишь недавно к младшей дочери в райцентр уехала.

- Либо ты, Феня? - подошел к ней Архип.

- Да, а то кто же.

- А я тебя не угадал. Укулемалась в этот платок. Ты откель же?

Не успели они и двух слов сказать, как новая тревога поднялась: шел "автобус. Молодые ребята начали костер топтать.

Снова вещички свои разобрали. В автобусе должны были все поместиться. Как сельди в бочке, но влезть. Как-нибудь, но доехать, а не стоять на таком морозе.

Тупоносый колхозный автобус, совсем пустой - это даже Архип разглядел - притормозил, остановился. А когда кинулись к нему гурьбой, он тронулся, свернул налево с грейдера к хутору Малодубовскому и поплыл неторопливо, вперевалочку, оставив на дороге еще одного бедолагу с чемоданчиком.

- Куда? Куда он? - накинулись тотчас на него.

- В Малую Дубовку, собрание проводить.

- Да он туда не проедет, - сказал возница. - На лошадях еле проехали.

Хоть спросил бы. Сейчас сядет, - пообещал он, не спуская с автобуса глаз.

Автобус, и точно, сел. Проехал немного, забуксовал, забуксовал.

- Вот так тебе и надо! - торжествовали на грейдере.

- Чего он туда? Для какого бесу?

- Собрание, говорю, проводить. Зоотехник поехал. Предвыборное собрание.

За депутатов чтоб голосовали, агитировать.

- Еш твою... - шутливо заругался Архип. - Вот бы он в автобусе и проводил агитацию. Нас бы посадил и до самой станции читал да читал. Оттель снова взял людей, и их бы... Да мы б за него все голоса поотдавали, даже лишние, за такого хорошего. Ты нас только до места довези.

Молодежь встала кружком, пошушукалась и всем табором подалась по домам: четверо в Малую Дубовку, двое в Вихляевку. Те, вдвоем, рысью помчались, застучали по набитой дороге словно коваными промерзшими подметками башмаков.

Остались Архип, Феня Чурькова, женщина с гипсовой ногой, муж ее на лошадях - лошади уже в белой шубе стояли, понурились, - и еще два мужика.

Архип всерьез начинал мерзнуть. Хоть и одет был неплохо, но полегонечку пробиралась к телу стынь. Просекал ветерок, и ноги коченели. Не шибко грела старая кровь. Но сдаваться он пока не хотел. Ребята, считай, шесть часов отстояли, а он лишь в девять из дому. Надо было терпеть.

- Еш твою... - пожаловался Архип. - Дураку надо бы самогонки взять. Глонул, и хорошо. - Лицо то чугуново и стало отдавать сизостью. - А то вот стой теперь. Либо "цыганочку" станцевать. - Хлопая себя по плечам и груди, он засеменял, на месте перебирая ногами. - Еш твою... Так бы бечь и бечь до самой станции.

- Тебе бы надо не сюда идти, а напрямик на Перещепной. Там Алексеевский грейдер, асфальт. Там машины всегда.

- На Перещепной, парень, нынче не дуже доберешься.

- А сколько там километров?

- Да бес их мерил. Пять, а може, семь, а може, все десять. Нет, десять не будет. А дорога тяжелая, по займищу. Где там лезть. Застрянешь в снегу. Потонешь навовсе. Туда я не рискую,

- Мерзни здесь.

- Чего ж, такая, значит, судьба, - ответил Архип и пошел к затоптанному костру, чтобы снова разжечь то.

Сухой хворост занялся сразу же, но жидкий его огонь грел лишь ладони рук и только.

Костерок быстро догорел, и призрачное тепло его быстро развеялось в студеном поле. Белая степь лежала вокруг, белая дорога дымилась поземкой, чернели вдоль дороги, в снегу по пояс вязки и клены, и не было никаких машин. Лишь синий автобус как застрял на пути к Малой Дубовке, так и стоял там неприкаянно.

Мохнатые от белого инея лошаденки покорно опушили головы и солому не жевали. Мужик-возница, бросив окурков, сказал жене:

- Поехали, а то вторую ногу отморозишь. Ничего боле не будет. Тетка Феня, ты как? Или рискуешь?

- Да сама не знаю. Меня ждут. Чего же это такое сделалось? Погода совсем разорилась.

- Стихия... - ответил Архип. - Стихия.

- А може, нам бог поможет, - нерешительно сказала Феня.

И словно услышав старую Женщину, издалека-издалека, со стороны Малой Дубовки, донесся слабый, но явственный рокот. Это был рокот трактора.

- Автобус либо вытягать едут?

- Похоже.

- Его бы подале запихнуть, чтоб до весны сидел,

- Машина.

- Где?

- Трактор машину тянет.

- Либо из Большой Дубовки?

- А откель еще? Из Большой. Это на станцию они едут. До грейдера - трактором, у них там балки непролазные.

- Може, на центральную?

- Не, на центральную прямая дорога.

Трактор рокотал все ближе и ближе, за ним, на тросу, тянулась машина с брезентовым верхом. И наконец они выехали на грейдер. Машину отцепили, Она шла в райцентр, на станцию, В кузове, под брезентовым тентом, было людно. Но уселись все. Архипу на лавочке места не досталось. Он пристроился почти у заднего борта, на запасном колесе.

Ехали долго. Заворачивали в Березовку, людей ссаживали, две свиные туши сдавали. Пришлось ждать. Мужик с головой, обмотанной бабьим пуховым платком, все охал, зубами маялся.

И в четвертом часу прибыли наконец в райцентр. Правда, Архипу подвезло: машина остановилась неподалеку от конторы, где выдавали уголь.

В поселке было теплее, чем в степи. Но Архипа, до нутра промерзшего за день, познабливало. Согрев был один - курево. И старик закурил, отряхнул с плаща и валенок снег и направился к воротам "Гортопа". Ему дважды приходилось покупать здесь уголь, и порядки были знакомы. По правую руку от входа стояла контора, но спешить туда Архип не стал, а прежде оглядел территорию. Уголь был. Возле рельсовых путей высился курган мелкой "семечки". Отдельно лежала куча доброго угля, антрацита. Обглядев эту картину, Архип вошел в контору. Там помещались три стола и сидели за ними женщины.

- Здравствуйте, дочушки, - снимая шапку, поздоровался Архип. - С праздничком вас, с рождеством Христовым. Или вы в городе такие праздники отменили? А я вот к вам пришел по-деревенски прославить, може, вы мне чего не подадите. - Он тонкую политику вел, подлаживался и немножко дурачка деревенского из себя строил. - Рождество твое, Христе боже, воссияй миру свет разума... Не славят у вас так-то вот?

Канторские женщины заинтересованно головы подняли.

- Нет, деда, у нас было, да прошло.

- А вот у нас до се славят. Ныне моя бабка конфетов приготовила, печенье, мелких денег. Родне и постарше какие - тем бумажные,

- Взрослые славят?

- А почему? Славят. Приходят как положено. - Архип, конечно, лукавил. Старое отошло. Из взрослых один на хуторе славильщик остался, Афоня Чертихин. Тот ходил. Остальные давно бросили. Но сейчас Архипу впечатление нужно было произвести, задурить бабам головы. - Приходят. А как же? Прославят. Вольешь им самогоночки...

- Ну, это и нашим мужикам покажи выпивку, они не то что бога, черта прославят,

- Точно! Запоют еще как...

И женщины, о пьянстве мужиков вспомнив, к Архиповым речам как-то, сразу остыли и спросили его:

- С чем пожаловал, деда? Угля нету.

- Как нету? А на дворе?

- Мало что на дворе... Мы же к тебе во двор не лезем, не высматриваем, где что лежит. Нету. Это учреждениям.

Полная женщина, в очках - она возле окошка сидела - догадалась:

- Да ты же и не наш? Ты где живешь? Откуда ты?

- С колхоза.

- Ну вот в колхозе и получай. Ты вывеску видал? Гор-топ. Мы теперь только город снабжаем. Понятно?

- Нету у нас в колхозе угля, не дают. Чего бы я ехал? Нету. Порошины нету. А у меня весь вышел. Чего же нам с бабкой теперь, померзать? Помогите, Христа ради. Вы - девчата хорошие, с праздником я вас поздравил. Поимейте снисхождение к старикам.

- Де-еда... Тебе русским языком говорят: гор-топ. Снабжаем только город. А сейчас и своим не даем. Понимаешь? Обращайся в колхоз. Вас теперь централизованно снабжают, отдельно. А мы ни при чем, понял?

- Куда же мне идти, дочушки? Поимейте снисхождение. Зима глядите какая. А топка, зарезает. Какие помоложе, на технике, те достают. А мы с бабкой кому нужны, пенсионеры. А в свое время трудились. И нынче я, по возможности... То сад сторожу... Фронт я прошел, - главный свой довод наконец выложил Архип. - Заслужил награды. Вот и удостоверение есть, - начал он плащ расстегивать.

- Не надо твоих удостоверений. Тебе же говорят - в колхоз обращайся. А мы - гор-топ. В колхоз иди.

- В колхозе конь не валился. Чего я туда пойду? Порошины там нету угля. А вы обязаны... А как же... - стал запинаться дед Архип, все свои слова выговорив, и, расстегнув телогрейку, вынул на свет божий газету, которая лишь видом своим придала ему сил; и голос выправился, стал твердым. - Вот... правительство что говорит? - потряс он газетой. - Для участников войны в первую очередь! - Он даже воскликнул тонким, сорвавшимся фальцетом. - А вы мне голову кружите. - И снова в голос, чуть не в крик, проговорил наизусть, не глядя в газету; - Проявлять постоянное внимание!

Женщины, поняв, что старика не унять, терпеливо слушали его, а потом одна из них, самая молодая, спокойно спросила:

- Ты, деда, русский человек или нет? Мы же тебе объяснили...

Архип вдруг в единый миг понял: угля не дадут. Он понял, шапку натянул и пошел из конторы.

Время стояло не раннее. Короткий зимний день догорал желтым, режущим глаз закатом. Солнце уже утонуло за крышами домов до утра. И теплые звезды земных огней зажигались в домах.

На центральной площади поселка нещадно дуло, по серому асфальту шуршала поземка. А в домах, видно, было тепло, форточки открыты, даже двери настежь.

И как только подумал Архип о тепле, о покойном домашнем тепле, так сразу окоченел. Казалось, единым махом просек его до костей и насквозь студеный ветер. Архип сжался, пытаясь сохранить в теле хоть теплую крупицу.

И скорее, скорее поковылял к магазинам, что стояли за площадью, справа. Там можно отогреться.

Он прошел полпути, когда пахнул ему в лицо сладкий запах свежего пшеничного хлеба. Архип споткнулся и стал, вначале ничего не понимая, он замер и стоял, вновь и вновь вдыхая этот благодный, добрый, почти забытый дух. Надышавшись властью и опомнившись, Архип пошел к хлебу, к магазину.

Хлеб выгружали из машины. Старик, глотая слюну, прошел в магазин, и голова его кругом пошла, опьяненная райским запахом хлеба.

Народу не было. Продавщица в белом резала свежие буханки пополам и в четверть и бросала их на полки, прикрытые стеклом. Архип потянулся к четвертушке. "Я заплачу, дочушка, заплачу..." - пробормотал он и захлебнулся, когда в руке у него очутилась теплая горбушка. И стыдясь, и, ничего не умея с собой сделать, Архип лишь успел шагнуть в сторону и, разломив четвертушку, начал есть ее. Так сладок был этот чистый пшеничный хлеб с упругой, хрусткой корочкой, с еще горячей ноздреватой мякушкой, так вкусен был и едов, что Архип не заметил, как съел четвертушку. Последний кус проглотил и почувствовал, как теплый хлеб обогрел нутро и по жилам потек горячим током. А хотелось еще. И он снова подошел и взял четвертушку, оправдываясь перед продавщицей: "Я заплачу, дочушка, не бойсь, деньги есть. С дороги я, наголодался за день, намерзся... Теплый, хлебушко..." - дрогнул голос его.

- Ешь, дедушка, на доброе здоровье...

Вторую четвертушку дед Архип ел медленнее, но с еще большим вкусом. Он жевал и чуял языком и небом, пресную сладость пшеничника, слышал еле заметный и дразнящий дух хмельной кислоты и сухарную горчину корочки. Вторая четвертушка тоже кончилась. После нее деда Архипа ударило в пот. Перед продавщицей было стыдно, но хотелось хлеба еще. Сладкий дух его нагонял слюну.

- Уж прости, дочушка, я еще съем. Наскучал по свежему хлебушку. Сколько лет-годов теплого не ел.

Продавщица ничего ему не ответила, поглядела внимательно и ушла в свою каморку и скоро вернулась с полной кружкой горячего чая. Она и стул принесла, усадила деда Архипа возле подоконника.

- Садись, дедушка. Пей, ешь, отогревайся.

Горячая волна благодарности к незнакомому доброму человеку подступила к сердцу.

- Спаси Христос, моя доча, - тихо сказал Архип, опускаясь на стул. - Спаси Христос.

После третьей четвертушки он сделался сыт, согрет и здоров. Допив сладкий чай, старик поднялся, деньги заплатил. Пора было правиться на ночлег, к племяннику. Но дед Архип, казалось, не мог уйти от этого доброго хлебного духа, от золотистых буханок, что трудились за стеклом. И хотя у Василия, конечно, был хлеб, но Архип не стерпел, купил буханку. Ее даже в руке держать было хорошо; чуять пальцами упругую корку, под которой горячей кровью бродило тепло неостывшей живой мякушки.

Старик расстегнул плащ, телогрейку и осторожно упрятал буханку на груди., Хлебное тепло и дух теперь были с ним.

И вдруг о бабке, а жене, о родной своей старухе вспомнил Архип. Он вспомнил вдруг, как говорила она ему нынче утром о своем непонятном сне.

Что племянник, что его ночевье, что уголь - все это ерунда. А вот старухе хлебушка принести свежего, как обрадуется. Жизнь с нею прожили, много ли радовал. Может, лишь в молодости. А потом... Какая жизнь потом, долгая... И может, в последний раз, да, еще перед праздником, свежего хлеба ей, словно из вчерашнего сна, разговеться.

Архип вынул из-под полы, из-за ремня мешок, положил туда пять буханок. А ту, первую, оставил при себе.

- Спаси Христос, доченька, - поклонился он продавщице, - с праздником тебя.

За минуту наново все перерешив, Архип знал, что он будет делать. Он пойдет на Алексеевский грейдер и доедет до Перещепновки. А там, с асфальта, к ферме, ее огни будут видны. От фермы вниз, на луга займища, оттуда сено возят, дорога пробитая. Сроду там сено оставляли на зиму. От лугов взять правее, занесенные Чуриковы талы обойти. Потом левее, через летник, там тихо. Выходить на Пески, на Большие, на Малые городбища, а там - считай, дома. Он дойдет, доберется. И снега, и мороз - это не беда.

То ли еще было. Здесь все свое, родное, хоженое-перехоженое.

А за пазухой грел ему сердце теплый хлеб.

## Николай Агафонов Вика с Безымянки

Выйдя из дверей барака, Вика, опасливо оглянувшись по сторонам и убедившись, что во дворе никого нет, облегченно вздохнула. «Может, мне пойти на свою остановку, а не шлепать вкруголя?» - подумала она.

- Это ты куда в такую рань собралась? - услышала Вика голос соседки Екатерины Матвеевны, и сердце ее затрепетало, как у пойманного кошкой воробышка.

- Да так, погулять..., - пролепетала девочка.

- Погулять? - удивленно протянула Екатерина Матвеевна, оценивая взглядом новое ситцевое платье в горошек, недавно сшитое Вике. - Да ты, прямо как на бал, вырядилась, только кто сейчас в шесть утра, да еще в воскресенье, твои наряды увидит? Разве петухи безымянские, они-то уж, поди, встали.

Довольная своей шуткой, она направилась к общественному туалету, волоча огромные калоши, надетые на босу ногу, похохатывая на ходу:

- Ну надо же, погулять. Мать ненормальная, и дочка в нее пошла. Вот семейка, недаром, видать, Виктор от них сбежал.

Вика вначале было перевела дух от испуга, но, расслышав последние слова тети Кати, чуть не расплакалась от обиды.

Виктор - это ее отец, которого она очень любила, да и сейчас любит не меньше, хотя он ушел к другой тете. Как было хорошо раньше! Жили они дружно, весело. В бараке у них - большая уютная комната. Здесь же, на Безымянке, она родилась в победном сорок пятом году, да еще 9 Мая. Папа назвал ее Викторией, что в переводе означает Победа. С дочерью у папы были особые отношения: она в нем души не чаяла, а он ее баловал, что несколько сердило маму, которая в делах воспитания была непримиримой к любым отступлениям от правил. Дом мама содержала в строгом христианском благочестии. Неукоснительно соблюдались все посты и обычаи, усвоенные ею от своих родителей, крепкой крестьянской семьи из-под Пензы. Когда отец сделал матери предложение, она поставила ему неременное условие, чтобы Бога чтить и Законы Его блюсти. Папа не возражал, даже иногда сам с ними в церковь ходил. Под Пасху, раз в год, обязательно причащался. Потом что-то в их семейных отношениях дало трещину. Мама объясняла Вике это тем, что лукавый восстал на семью, позавидовав христианскому житию. И, естественно, говорила мама, ударил нечистый в самое слабое место - в отца. Стал его через начальство восхвалять как лучшего работника авиационного завода, передовика производства. Наградили отца грамотой и бесплатной путевкой в санаторий. Там, в санатории, искуситель рода человеческого подсунул папе женщину-соблазнительницу, сгубившую его душу. Вика помнит день расставания с отцом. Он пришел пьяный, когда они читали вечерние молитвы перед сном. Зашел в комнату, дыхнув винным перегаром, и уселся на стул у стола, как был в одежде и обуви. Видя, что на него не реагируют, отец, громко хмыкнув, произнес с издевкой:

- Что, с Богом беседуете, а со мной разговаривать не желаете?

Мама, спокойно отложив молитвослов, решительно повернулась к отцу:

- А ты для храбрости поддал, чтобы признаться, что к этой блуднице ходишь? Так об этом уже весь сборочный цех знает, если не весь завод. Вот и иди к ней жить, а в мой дом нечего грязь носить! - и она указала на чемодан с его вещами.

Папа, вначале стушевавшись от этих слов, взялся было за ручку чемодана, но вдруг, бросив его, закричал:

- А мне надоело, каждый день только и слышишь: «Господи, помилуй, Господи, помилуй...». Устроили тут богадельню, понимаешь ли. Человек сам своей судьбы хозяин! Человек, между прочим, звучит гордо!

- Напился, несешь разную чушь, - перебила его мама, - на митингах своих это будешь говорить, а сейчас - скатертью дорога к своей потаскухе.

- Не смей так говорить об этой женщине! - закричал яростно отец и кинулся на маму с кулаками.

Тут Вика решительно встала между мамой и отцом. Наткнувшись на взгляд дочери, он застыл на месте, увидев в нем одновременно и страх, и горький упрек. Опустив кулаки, отец, как бы оправдываясь перед ней, пробормотал:

- А чего она так людей оскорбляет, никакая она не потаскуха, обыкновенная женщина.

- А как же ее назвать, если она чужих мужей уводит? - в сердцах выкрикнула мама.

- Я сам уйду, - как-то обреченно сказал отец и, взяв чемодан, направился к двери. Уже в дверях он обернулся: - Прости, доченька, своего папу.

Вика дернулась было к отцу, но мать решительно удержала ее за плечо. Как только дверь захлопнулась, мать упала на кровать и зарыдала. Она проплакала всю ночь, а утром после прочтения молитв сказала:

- Все, доченька, теперь знай: папа погиб. У тебя нет отца, а у меня нет мужа, но Бог милостив, проживем одни. О нем надо забыть.

Вика молча обняла ее, детское сердце подсказывало, что маме очень тяжело и нужна ее поддержка. Хотя ей самой было не легче: она никак не могла примириться с мыслью, что у нее нет больше отца.

...Глядя вслед уходящей соседке и предаваясь своим горестным воспоминаниям, Вика уже не помышляла идти на свою остановку. Пошла обычным маршрутом: через несколько кварталов Безымянки к Кировскому проспекту, чтобы там сесть на автобус. Эту нехитрую конспирацию она проделывала каждое воскресенье, направляясь на службу в Покровский собор. В свои тринадцать лет Вика прекрасно понимала, что пока о ее вере не знают окружающие, и особенно в школе, жизнь будет протекать относительно спокойно, как у всех. Но как только ее вера перестанет быть тайной, жизнь превратится в сплошной кошмар. Поэтому как могла, так и сохраняла свою тайну, ощущая себя кем-то вроде партизанской связной в тылу врага. В автобусе она внимательно оглядела пассажиров, нет ли знакомых. Когда случалось встретить в автобусе знакомых, она выходила за две остановки до собора и шла туда пешком переулками. На этот раз все было спокойно. Придя в собор и купив свечей, она подала записочку о здравии, в которой, кроме мамы и себя, первым в списке написала погибшего Виктора. Регистратор ее поправила:

- Доченька, у тебя, наверное, записочка об упокоении, а ты пишешь: «О здравии».

- Почему? - удивилась Вика.

- Так вот Виктор этот на войне, наверное, погиб, тогда надо писать: «...убиенного воина Виктора».

- Нет, тетя, он жив, это мой папа, он только в Бога перестал верить и из семьи ушел.

- Да, действительно, гибнет человек, - вздохнула регистратор, - пиши лучше «заблудшего Виктора» и молись, доченька, Божией Матери «Взыскание погибших». Твои-то чистые молитвы скоро дойдут.

От свечного ящика Вика отошла радостно-взволнованная. Вот оно, простое решение, как же она сама не догадалась! Она всегда во время службы стояла недалеко от амвона с левой стороны, как раз напротив особо чтимой в Самаре иконы Божией Матери «Взыскание погибших». Но никогда в голову ей не приходило задуматься о названии иконы. Теперь это название звучало, как обворожительная музыка: «Взыскание погибших». Вот кто может взыскать погибшего папу. Да, именно Она, именуемая «Взыскание погибших». Всю Божественную литургию Вика не сводила умоляющего взора с образа Божией Матери.

Со службы домой Вика вернулась в приподнятом настроении. Весна в этом году ранняя, следующее воскресенье - Вербное, а там Пасха. Она поставила на плиту разогревать суп и тихонько запела: «Христос Воскресе из мертвых..., - но тут же спохватилась, прикрыв рукой рот, - что это я делаю? Идет Великий пост».

Мама на заводе работала по скользящему графику, и в это воскресенье как раз была ее смена. Вика в ожидании ее прихода уселась с ногами на кровать, взяв учебник географии.

Скрипнула дверь, в комнату ввалился папа. Вика сразу определила - выпивший.

- Здравствуй, доченька, а мама на работе? Это хорошо, я с тобой пришел повидаться, соскучился.

- Проходи, папа, я сейчас тебя супом накормлю, - приход отца, несмотря на то, что он был пьяный, все равно обрадовал Вику.

- Небось, постный суп?

- А как же, пап, твой любимый, с грибами. Помнишь, мы их в прошлом году собирали?

- Да, прошлый год был хороший, грибной. Ну давай суп.

Немного поев, он отложил ложку.

- Что-то без ста граммов не идет, дочка.

- Папа, ты же раньше не пил! - с упреком сказала Вика.

- Ну, не пил, а сейчас хочется. Я ведь, дочка, проталет... прота, - ему никак не удавалось выговорить слово «пролетариат», и он махнул рукой, - ну, словом, мы из рабочих. У меня и отец был рабочий, и дед был рабочий - целая династия. Отец мой на Путиловском работал еще при царизме, тридцать рублей получал, а между прочим, корова тогда пять рублей стоила. Шесть коров получал, вот так! Рабочий класс, дочка, - это же движущая сила революции. Это мама твоя из кулацкой семьи, они собственники, вот за Бога и держатся. А нам, протале... протале., ну, словом, нам, рабочим, нечего терять, кроме своих цепей, мы должны за Советскую власть держаться, а она Бога не признает. Так что ты плохо о папе не думай, у нас с мамой idiotические, тьфу ты, то есть я хотел сказать - идеологические расхождения.

Он снова придвинул к себе суп и замолчал, в раздумье помешивая ложкой в тарелке. Потом снова заговорил:

- Я ведь, доченька, маму твою за героизм любил.

- Какое это, папа? - удивилась Вика.

- А вот так. Сорок второй год, наши отступают по всем фронтам. Фашисты к Волге у Сталинграда выходят. А у нас - приказ товарища Сталина эвакуировать авиационный завод из Воронежа в тыл, сюда, в Куйбышев. Демонтируем мы завод, оборудование грузим в эшелоны, а тут немецкие бомбардировщики налетели - такое началось! Ну, меня осколком и ранило. Лежу, кровью истекаю, думаю, конец пришел. А мама твоя под бомбами ползет ко мне. Перевязала рану да меня, бугая, до медпункта на себе, маленькая, худенькая, но все же доволокла, не бросила.

Отец рассказывает, а Вика видит, как по его щекам текут слезы. Никогда она не видела, как отец плачет. Сама тоже зарыдала, кинулась к нему на шею:

- Папа, папочка, а ты вернись, пожалуйста, мама простит.

- Нет, доченька, я твою маму знаю, крепче кремня она. Не простит... Да и я тут, потому что выпил, а так - бесполезно.

Отец встал и тяжелой походкой направился к двери.

- Папа, я за тебя молиться буду Божией Матери «Взыскание погибших».

Отец обернулся и долго смотрел на дочь, а она - на него.

- Молись, доченька, если Бог есть, я думаю, Он твою молитву услышит.

...Подошел долгожданный день Святой Пасхи. Перед тем как пойти на ночную службу, мама с Викой тщательно подготовились. На Пасху подходы к собору перекрывались рядами милиции и комсомольскими дружинами, чтобы не пропускать в храм молодежь и детей.

В прошлую Пасху Вику развернули назад, не пропустив в собор, но в этом году они решили пойти на маленькую хитрость. План был прост. Недалеко от собора в одном из глухих дворов Вика переделалась. На ноги надела старые боты, поверх своего нарядного

платья - старый мамин халат и большой темный платок, надвинув его глубоко на глаза. Она сгорбилась и под руку с мамой благополучно прошла в собор через все кордоны милиции и патрулей. В соборе, радуясь, что сумела обвести вокруг пальца богопротивников, Вика скинула халат и платок и переобулась в туфли. Когда закончилось это преобразование из старушки в девочку-школьницу, она подняла глаза, и душа ее прямо похолодела от страха. С наглой ухмылкой на нее глядел Игорь Белохвостов, ученик 10 «Б» класса их школы. На рукаве его красовалась повязка, означающая, что он - в комсомольском патруле.

- Так-так, - сказал он, - тебе, Серова, надо в школьной самодеятельности участвовать, прямо актриса. Я, правда, тебя еще у входа заприметил. Не хочу школу нашу позорить, а то сейчас бы уже доложил куда надо.

Пасхальная радость была омрачена. Но когда по всему храму зазвучало многоголосое «Христос Воскресе», Вика забыла на время свои беды и вся ушла в искрометное и светоносное Пасхальное богослужение.

В понедельник Вику вызвали к завучу по воспитательной работе Зинаиде Никифоровне.

- Ну, - строго сказала завуч, пронзая взглядом потупившуюся Вику, - рассказывай, Серова, что ты делала в церкви ночью.

- Была на службе, - чуть слышно произнесла Вика.

- Громче! Я не слышу! - властно потребовала Зинаида Никифоровна.

- Была на службе, - повторила Вика.

- И что ты там делала на службе?

- Молилась Богу.

- Ах, она молилась, - всплеснула руками завуч, - она, советская школьница, молилась Богу, вы только подумайте! Ты что же, веришь в Бога? Отвечай, что ты молчишь?!

- Да, верую.

Тут Зинаида Никифоровна, не выдержав, выскочила из-за стола, подбежала к Вике, схватила ее за плечи и стала трясти, приговаривая:

- Тогда скажи мне, где твой Бог? Ну, где Бог?

«Господи, помоги мне! Господи, помоги!» - повторяла про себя Вика.

И вдруг какая-то сила подбросила ее голову вверх, она прямо посмотрела на Зинаиду Никифоровну и, чуть не заплакав, произнесла:

- Он сейчас здесь.

- Где - здесь? - опешив от такого ответа, воскликнула завуч, невольно озираясь кругом. - Я никого не вижу, кроме нас с тобой. Да хватит нести всякую чушь! Иди пока, будем разбираться с твоими родителями.

Выйдя от завуча, Вика увидела только что вывешенную в коридоре стенгазету, на которой была изображена карикатура: Вика с клюшкой в руках идет в храм, с шеи ее свешивается больших размеров крест, который своей тяжестью пригибает ее к земле, а внизу подписаны стихи:

Серова Вика, как старуха,  
Ходит в церковь по ночам,  
У нее одна наука -  
Как бы угодить попам.  
Ей не строить самолеты,  
Не пахать ей целины,  
У нее свои заботы -  
Помогать врагам страны.  
Церковь - враг Страны Советов,  
Это ясно всем давно.  
Попов, буржуев и кадетов

Победим мы все равно.  
Бей по старым предрассудкам,  
Комсомолец удалой,  
Прибауткам, песням, шуткам  
Сердце ты свое открой.  
Как Серову повстречаешь,  
То с презрением отвернись.  
Бога нет, ты это знаешь,  
С ним бороться поклянись!

Вика с замиранием сердца прочла стихотворение: все-таки первые стихи, посвященные ей. Потом задумалась: «Как они собираются бороться с Богом, если верят, что Его нет? Можно ли бороться с тем, чего нет?»

Вечером Вика все поведала маме. Та, вздохнув, сказала:

- Значит, нам такой крест Господь дает, будем нести, доченька. Господь милостив, поможет.

На следующий день к ним пришла комиссия от родительского комитета. Вика как раз учила уроки. Члены комиссии, войдя в комнату, сразу же усадились на передний угол, весь увешанный иконами и лампадами. Перед иконами на столике лежала раскрытая Псалтырь.

Возглавлявшая комиссию расфуфыренная дама из районо, вся напомаженная и благоухающая духами «Красная Москва», брезгливо поморщившись, произнесла:

- Все ясно, товарищи, религиозный дурман здесь прямо витает в воздухе, мне аж дурно делается. Ребенка надо спасать! Будем настаивать на лишении материнских прав. В школе надо собирать расширенный педсовет, и пусть разбирает дело и дает рекомендации.

Члены комиссии молча закивали головами и вышли из комнаты. Вика горько расплакалась. Мама, узнав о случившемся, обняла девочку:

- Не бойся, дочка: не в силе Бог, а в правде - поверь мне. Были времена и намного тяжелее. Вот я тебе расскажу свою историю, когда я была почти такой же, как ты.

Мне было 14 лет, когда пришли нас раскулачивать. А уж какие из нас кулаки? Коровушка да теленок, три козы, несколько курочек - вот все наше богатство. А детишек нас девять человек у родителей. Отец в колхоз не вступал, так и жили единоличным хозяйством. Это очень сердило начальство. Еще отец в церкви нашей священнику помогал, читал на клиросе. Как церковь пришли закрывать, батюшку забрали и увезли, а с ним и нашего отца. Больше-то мы его не видели. Без отца мы, конечно, бедствовать стали. Теленочка зарезали. Потом козочек продали. Одна коровушка-кормилица осталась. Но в колхоз все равно не вступали. Пришли из сельсовета и за нашей кормилицей. Мама как раз её доила, а рядом ребятишки голодные с кружками стоят, ждут. Когда коровушку стали отвязывать, мама говорит: «Дайте, люди добрые, додоить, детей покормить». Подошел их главный да как пнет сапожищем подойник с молоком и кричит: «Советская власть сама их накормит!»

До сих пор у меня перед глазами, доченька, тот подойник с молоком, как летит он вверх тормашками, а молочко плещется в воздухе и дождичком на навоз опадает. Детишек по детским домам разослали, а нас с мамой в Сибирь отправили. Привезли в глушь, там такие же, как мы, бедолаги - мужики да бабы. Землянок понаделали. Питания - никакого. Кору с деревьев варим. Мама моя расхворалась, подзывает меня и говорит: «Беги, доченька, отсюда, зачем нам с тобой вместе погибать». Я отвечаю: «Как же, мама, я тебя оставляю?» «Ничего, - говорит мама, - кругом люди хорошие, а ты беги. И в церкви меня помянешь по-христиански, да и у самой когда-нибудь детки будут. Я с небушка буду на вас глядеть, радоваться». Я, конечно, ни в какую. Но мама на следующий день померла.

Похоронили мы ее и сговорились с одной девушкой, постарше меня года на три, бежать. Через тайгу к железной дороге два дня добирались, еще день - вдоль дороги. Дошли до станции, сели в поезд. Едем, радуемся, да только рано мы радовались. Смотрим, идет патруль военный, документы проверяет. Побежали мы с подругой в другой вагон, и они следом идут. Никуда от них не деться. Решили прыгать с поезда на ходу. Подруга моя первая спрыгнула. Страшно мне стало, но еще страшнее в их руки угодить. Перекрестилась я и сиганула под откос. Славу Богу, живы остались, только ободрались все в кровь. Стали подорожник да разные травы лечебные прикладывать. Поплакали-поплакали да дальше пошли. Хорошо еще, что следующая станция была недалеко, только три дня шли, травами и ягодами питались. Пришли на полустанок да постучали на свой страх и риск в крайнюю, самую бедную избу. Славу Богу, там сердобольная старушка оказалась. Она нас отмыла, накормила и спать уложила. Кое-какие вещички у нас были, эта старушка их продала да на те деньги билеты купила.

Едем мы в поезде и сами дрожим от страха: а ну как снова патруль? Не успели подумать, действительно, идут. Выбежали мы в тамбур. Я говорю: «Прыгать больше не буду, пусть хоть расстреливают». Подруга тогда предложила в туалете спрятаться. Зашли мы в туалет, закрылись и давай молиться: Богу, Божией Матери, Николе Чудотворцу. Слышим, выходят они в наш тамбур. Старший кричит: «Мы - в следующий вагон, а ты, Колосов, проверь туалет». Ну все, думаем, попались. Постучал он в дверь, мы молимся, не открываем. Тогда он своим ключом открыл дверь. Стоит перед нами солдатик, худенький такой, совсем молоденький паренек, весь в веснушках. Мы стоим на коленях, прямо на загаженном полу, крестимся и плачем. Посмотрел он на нас, молча покачал головой, потом вдруг как бы украдкой перекрестился, захлопнул дверь и кричит: «Здесь никого нет, товарищ командир».

Дальше мы благополучно до Воронежа добрались. У той девушки там родственники жили, они помогли мне документы справить и на авиационный завод пристроили работать. Так что, доченька, хоть на их стороне и сила, но Бог все равно сильнее, давай молиться, и Господь, если Ему угодно будет, обратит их судилище к правде Своей.

После маминого рассказа у Вики на душе как бы спокойнее стало. Но, когда подошло время заседания педсовета, ее снова охватил страх. Классная руководительница Клавдия Феофановна предупредила Вику, что сегодня будут разбирать на педсовете ее поведение, и чтобы она недалеко от учительской ждала. Вика стояла, ожидая, когда ее позовут, ни жива ни мертва. В щель приоткрытой двери она увидела сидящих за столом учителей и ту даму из районо, что приходила к ним домой. Но самое страшное, возглавлял педсовет директор школы Петр Аркадьевич Жаринов, которого побаивались не только ученики, но даже и учителя. Когда он шел по коридору школы, то умолкали самые хулиганистые ребята. Во время войны Петр Аркадьевич служил в разведывательном батальоне. В битве на Курской дуге лишился левой руки. Вернувшись домой, окончил педагогический и стал директором школы. Когда Вика увидела его, восседающего в учительской, мужество окончательно покинуло ее. Она потихоньку попятилась, а потом припустилась во всю прыть в свой класс. Взяв портфель, направилась было к выходу, но навстречу ей уже шла Клавдия Феофановна.

- Вика, куда же ты подевалась? Тебя ждут в учительской.

- Я туда, Клавдия Феофановна, не пойду, я боюсь, - и Вика заплакала.

- Ну вот, - озадачилась Клавдия Феофановна, - что же мне с тобой делать?

Она подошла и стала гладить Вику по голове:

- Думаешь, мне туда хочется идти? Но надо, понимаешь? Надо. Я же буду с тобой, - Вика с недоверием посмотрела на Клавдию Феофановну, все еще всхлипывая. - У меня, Вика, тоже душа противится идти туда. Но деваться некуда. Да я уверена, Петр Аркадьевич хоть и строг, но справедлив, не позволит он тебя обидеть напрасно.

Когда Вика с классной руководительницей зашли в учительскую, там горячо ораторствовала дама из районо:

- Мало, что ли, товарищи, нам потрепали нервы эти религиозные фанатики два года назад, когда у них какая-то Зоя стояла? Теперь вот наших учащихся увлекают в церковь, так сказать, уводят от строительства коммунизма. С этим надо решительно бороться. Нельзя давать родителям коверкать души наших детей религиозным дурманом.

Директор при этих словах как-то поморщился и бесцеремонно перебил даму:

- У Вас, я вижу, все по этому вопросу? Тогда садитесь.

Дама замолкла и, обиженно поджав губу, села.

- Теперь попросим, товарищи, выступить классного руководителя Серовой. Что Вы можете сказать по этому вопросу?

Клавдия Феофановна встала:

- У меня лично к Серовой никаких претензий нет. Поведение хорошее, в учебе также наблюдаются успехи.

- А скажите нам, мать Серовой ходит на родительские собрания?

- Да, товарищ директор, ходит, в дневнике расписывается, постоянно проявляет интерес к учебе дочери.

- Спасибо, Клавдия Феофановна, садитесь. Ну, все ясно, товарищи, у школы к Серовой никаких претензий нет ни с какой стороны, а то, что она в церковь ходит, так это их личное семейное дело. Законом это не запрещено, - он повернулся к даме из районо. - А вот касательно коверканья душ детей, так и меня мама в детстве в церковь водила и молитвы заставляла учить. А потом нам эти молитвы ох как пригодились на Курской дуге! Представьте себе, перед этим страшнейшим сражением Великой Отечественной все молились, от генерала до рядового. Сражение выиграли и немца до Берлина гнали. Сам я коммунист, а вот мать моя до сих пор в церковь ходит. Что же мне, от матери своей отказываться прикажете? - последние слова Петр Аркадьевич произнес жестко и встал, показывая этим, что педсовет окончен.

Домой из школы Вика не шла, а просто радостно летела. Весеннее солнышко припекало по-летнему. Ей хотелось с кем-то поделиться своей радостью. «Мама на работе сейчас, вот бы папа пришел, было бы здорово!»- подумала она.

Около барака на скамейке сидела соседка Екатерина Матвеевна и лузгала жареные семечки.

- Здравствуйте, тетя Катя! - радостно приветствовала ее Вика.

- Чему ты радуешься? - буркнула Екатерина Матвеевна. - Отец твой в больнице.

- Как - в больнице? - растерялась Вика.

- Да так, в цеху у них авария, вот его чем-то и пришибло.

- В какой больнице, тетя Катя?

- Вроде в Пироговке. Господи, да что это с тобой, белее молока стала! Да не убивайся ты так, он же все равно вас бросил.

- Он мой папа! - вскрикнула Вика, и слезы брызнули из ее глаз. Она развернулась и побежала к автобусной остановке.

В больнице ее к отцу не пустили, сказали, что он в реанимации, а туда нельзя. Вика все равно никуда не уходила, осталась сидеть в приемной. Вышла медсестра, стала уговаривать ее идти домой и прийти завтра, потому что сейчас папе будут делать операцию. Узнав об операции, Вика побежала в храм и всю вечернюю службу простояла на коленях перед иконой «Взыскание погибших», молясь Богородице об отце.

Придя домой, Вика не могла сесть за уроки, все казалось таким неважным, по сравнению с тем, что сейчас происходит с отцом. Еле дождалась с дежурства маму.

- Нельзя так убиваться, доченька, - стала та утешать Вику, - без воли Божией ничего не происходит. Это отцу твоему наказание от Бога за его великий грех.

- Мамочка, ну как ты можешь так сейчас говорить, ведь папе плохо, потому мы должны быть рядом.

- Он сам нас бросил, променял на эту женщину, значит, у него нет теперь семьи.  
- Mamочka, пойдем завтра к папе в больницу, ну, пожалуйста, он увидит тебя и обрадуется, скорее будет выздоравливать.

- Ты иди, дочка, а я не пойду.

- Ну почему, мама? Мы же христиане, должны прощать.

- Мне обидно, дочка, но я все равно могу простить. Но если я приду туда, в больницу, и «эта» его тоже придет, что мне тогда прикажешь делать? Нет, я сказала: хочешь идти - иди одна.

На следующий день Вику пропустили к отцу. Тот лежал весь забинтованный, под капельницей, то ли спал, то ли был в каком-то забытье. Вика молча сидела около отца, поглаживая его руку, лежащую поверх одеяла, и читала про себя все молитвы, которые знала наизусть. Она сидела до тех пор, пока медсестра не вывела ее, сказав, что время для посещения больных закончилось. На другой день Вике повезло. Отец очнулся после операции и хотя ему было тяжело разговаривать, он все же прошептал:

- Пришла, доченька, а папа вот какой у тебя.

- Ты поправишься, папа, я ведь за тебя молюсь.

Они долго молча смотрели друг на друга, как бы разговаривая глазами, и им было все понятно.

На четвертый день с Викой захотел поговорить лечащий врач.

- Ты - его дочка, а где жена или другие родственники?

- Мама сейчас не может, - слукавила Вика, - а кроме нас, у папы никого нет.

Вику обрадовала догадка, что та женщина, к которой папа ушел, тоже не ходит к нему.

- Ну так вот, слушай, - продолжал врач, - черепно-мозговая травма заживет, и все прочие переломы срастутся, но на одной ноге началась гангрена, придется ногу отрезать, и дай Бог, чтобы на этом все закончилось.

- Как же папа без ноги? - растерялась Вика.

- Ну, тут уж ничего не поделаешь: или ногу, или целиком в гроб. Главное - это чтобы гангрена дальше не пошла.

Когда Вика пришла на следующий день, одеяло бугрилось только над одной ступней. Отец лежал, устремив взгляд в потолок, даже не поздоровался с дочерью.

- Папа, как ты сейчас себя чувствуешь?

Отец перевел свой тоскливый взгляд с потолка на дочь.

- Я ведь, доченька, из рабочих, как же я теперь без ноги, кому я нужен?

- Как это - кому? Мне ты нужен, маме нужен.

- Маме? Где же она? Нет, доченька, калеки никому не нужны.

- Зачем ты так говоришь, папа? А если бы с мамой что случилось или со мной, мы тоже были тебе не нужны?

- Ну что ты говоришь, доченька, типун тебе на язык!

Через день врач сказал:

- Все-таки гангрена пошла дальше, придется второй раз, уже выше колена, резать. Готовьтесь к операции, будем надеяться, что она - последняя.

У Вики все от этих слов похолодело.

Когда врач ушел, отец обреченно сказал:

- Вот видишь, дочка, через кровать от меня лежал больной, тоже резали, резали, а сегодня в морг снесли. Страшно помирать, когда тебе тридцать восемь лет.

Лежащий рядом с ним пожилой мужчина, расслышав слова отца, пробурчал:

- А что, думаешь, в семьдесят восемь лет не страшно помирать? Всегда страшно, сколько ни проживи. Вон нас власть учит, что ничего после смерти нет. Что жил, что не жил - все равно. И для чего тогда жил, если все равно помер?

Вика, наклонившись к отцу, зашептала:

- Папа, папочка, милый, я не хочу, чтобы ты умирал. Тебя надо пособоровать и причастить.

- Эх, дочка, - тоже зашептал отец, - разве это поможет? Думаю, что нет, природу не обманешь. Но раз уж помирать, то хотелось бы с Богом все равно примириться, покаяться в своих грехах. А то как там будет, не знаю.

- Правильно, папочка, правильно, молодец! Я тебе батюшку приведу, - и, чмокнув отца в небритую щеку, она выбежала из палаты.

Вика пошла к заведующему отделением и попросила разрешения привести священника. Тот замахал руками:

- Что ты! Не положено! Ты что же, девочка, хочешь, чтобы я работы лишился?

Когда Вика стала продолжать упрашивать, он рассердился и просто выставил ее за дверь. Вика пошла по больничному коридору, вся заливаясь слезами.

- Что-то случилось, родненькая? - остановила ее пожилая медсестра.

Вика все рассказала.

- Ну вот что, не плачь и не горюй, здесь, в больнице, тоже немало верующих работает. Я тебе все устрою во славу Божию. Иди в собор и спроси отца Димитрия. Еще не каждый священник сюда пойдет, они ведь тоже рискуют. Скажи ему, Нина Семеновна тебя прислала из Пироговки. Придете ближе к ночи, я дежурю. Буду ждать вас в одиннадцать часов у входа.

Вечером Вика с отцом Димитрием, уже пожилым священником, стояли у входа в хирургический корпус. Нина Семеновна, открыв им двери и взяв благословение у отца Димитрия, осторожно повела коридорами, предварительно накинув на них белые халаты. Отец Димитрий в больницу пришел в костюме с галстуком, а ряса лежала в сумке. В белом халате, с небольшой бородкой, он был похож на профессора медицины. Папу из палаты Нина Семеновна заблаговременно перевезла в перевязочную. Впустив туда отца Димитрия, она закрыла дверь перевязочной на ключ. Затем вручила Вике ведро и тряпку со шваброй:

- Ну, дочка, чтобы легче было тебе ждать, мой коридор, да почище. Бог труды любит.

Через час Нина Семеновна открыла перевязочную. Оттуда вышел уставший отец Димитрий. Вика, заглянув, увидела отца. Лоб и щеки его лоснились от масла после соборования, но глаза были спокойные и ясные, смотрящие как бы внутрь себя. Заметив Вику, он ей улыбнулся. Вика, подбежав, поцеловала отца и шепнула:

- Поздравляю тебя с соборованием и причастием. Вот увидишь, все будет хорошо.

Через неделю после операции врач радостно сообщил:

- Идет на поправку, через месяц получишь своего папу.

Вика сидела возле отца счастливая, отец тоже улыбался, они строили планы на летние каникулы. Неожиданно отец дернулся вперед и прямо весь просиял. Вика обернулась и увидела в дверях палаты маму с авоськой в руке. Мама прошла к кровати, поставила авоську на тумбочку:

- Ну, здравствуй, муж.

- Здравствуй, жена. Поцелуемся, что ли? - после короткой паузы добавил он.

- Давай поцелуемся да буду тебя домашними пирожками откармливать, а то вон исхудал как без меня.

Поцеловав отца, мать сразу склонилась над авоськой и долго там копошилась, но Вика заметила, что она это делает, чтобы украдкой вытереть слезы.

## Погиб при исполнении

(Некриминальная история)

*Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих.*

Евангелие от Иоанна, 15, 13

*И когда уже кончит над всеми, тогда возглаголет и нам: «Выходите, - скажет, - и вы! Выходите пьяненькие, выходите слабенькие, выходите соромники!» И мы выйдем все, не стыдясь, и станем. И скажет: «Свиньи вы! Образа звериного и печати его; но приходите и вы!» И возглаголют премудрые, возглаголют разумные: «Господи! Почто сих приемлешь?» И скажет: «Потому их приемлю, премудрые, потому их приемлю, разумные, что ни единый из сих сам не считал себя достойным сего...»*

Ф. М. Достоевский. «Преступление и наказание»

Было уже десять часов вечера, когда в епархиальном управлении раздался резкий звонок. И только что прилегший отдохнуть Степан Семенович, ночной сторож, недовольно ворча: «Кого это нелегкая носит?», шаркая стоптанными домашними тапочками, поплелся к двери. Даже не спрашивая, кто звонит, он раздраженно крикнул, остановившись перед дверью:

- Здесь никого нет, приходите завтра утром.

Но за дверью бесстрастный голос ответил:

- Срочная телеграмма, примите и распишитесь.

Получив телеграмму, сторож принес ее в свою каморку, включил настольную лампу и, нацепив очки, стал читать. «27 июля 1979 года протоиерей Федор Миролюбов трагически погиб при исполнении служебных обязанностей, ждем дальнейших указаний. Церковный совет Никольской церкви села Бузихино».

- Царство Небесное рабу Божьему отцу Федору, - сочувственно произнес Степан Семенович и еще раз перечитал телеграмму вслух. Смушала формулировка: «Погиб при исполнении...» Это совершенно не клеилось со священническим чином.

«Ну там милиционер или пожарный, в крайнем случае сторож, не приведи, конечно, Господи, это еще понятно, но отец Федор?» - пожал в недоумении плечами Степан Семенович.

Отца Федора он знал хорошо, когда тот еще служил в кафедральном соборе. Батюшка отличался от прочих клириков собора простотой в общении и отзывчивым сердцем, за что и был любим прихожанами. Десять лет назад у отца Федора случи-лось большое горе в семье - убит был его единственный сын Сергей. Произошел этот случай, когда Сергей шел домой порадовать родителей выдержанным экзаменом в медицинский институт, хотя отец Федор мечтал, что сын будет учиться в семинарии.

- Но раз выбрал путь не духовного, а телесного врача, все равно - дай ему Бог счастья... Меня будет на старости лечить, - говорил отец Федор Степану Семеновичу, когда они сидели за чаем в сторожке собора. Тут-то их и застала эта страшная весть.

По дороге из института увидел Сергей, как четверо парней избивают пятого прямо рядом с остановкой автобуса. Женщины на остановке криками пытались урезонить хулиганов, но те, не обращая внимания, уже лежащего молотили ногами. Муж-чины, стоявшие на остановке, стыдливо отворачивались. Сергей, не раздумывая, кинулся на

выручку. Кто его потом ножом пырнул, следствие только через месяц разобралось. Да что от этого проку, сына отцу Федору уже никто вернуть не мог. Сорок дней после смерти сына отец Федор служил каждый день заупокойные обедни и панихиды. А как сорок дней прошло, стали частенько замечать отца Федора во хмелю. Бывало, и к службе приходил нетрезвым. Но старались не укорять, понимая его состояние, сочувствовали ему. Однако вскоре это стало делать все труднее. Архиерей несколько раз переводил отца Федора на должность псаломщика, для исправления от винопития. Но один случай заставил Владыку пойти на крайние меры и уволить отца Федора за штат.

Как-то, получив месячную зарплату, отец Федор зашел в рюмочную, что находилась недалеко от собора. Завсегдатаи этого заведения относились к батюшке почтительно, ибо по своей доброте он потчевал их за свой счет. В этот раз была годовщина смерти сына, и отец Федор, кинув на прилавок всю зарплату, приказал угощать всех, кто пожелает, весь вечер. Буря восторгов, поднявшаяся в распивочной, вылилась в конце пьянки в торжественную процессию. С соседней строительной площадки были принесены носилки, на них водрузили отца Федора и, объявив его Великим Папой Рюмочной, понесли через весь квартал домой. После этого случая отец Федор и угодил за штат. Два года он был без служения до назначения его в Бузихинский приход.

Степан Семенович в третий раз перечитал телеграмму и, повздыхав, стал набирать номер домашнего телефона Владыки. Трубку поднял келейник Владыки Слава.

- Его Высокопреосвященство занят, зачитайте мне телеграмму, я запишу, потом передам.

Содержание телеграммы Славу озадачило не меньше, чем сторожа. Он стал размышлять: «Трагически погибнуть в наше время - пара пустяков, что весьма часто и происходит. Вот, например, в прошлом году погиб в автомобильной катастрофе протоиерей с женой. Но при чем здесь служебные обязанности? Что может произойти во время богослужения? Наверное, эти бузихинцы что-то напутали».

Слава был родом из тех мест и село Бузихино знал хорошо. Оно было знаменито строптивым характером сельчан. С необузданным нравом бузихинцев пришлось столкнуться и архиерею. Бузихинский приход доставлял ему хлопот более, чем все остальные приходы епархии, вместе взятые. Какого бы священника к ним архиерей не назначал, долго тот там не задерживался. Прослужит год, ну от силы другой - и начинаются жалобы, письма, угрозы. Никто на бузихинцев угодить не мог. Одно время за год три настоятеля пришлось сменить. Рассердился архиерей, вообще два месяца к ним никого не назначал. Бузихинцы эти два месяца, как беспоповцы, сами читали и пели в церкви. Только от этого мало утешения, обедню-то без батюшки не отслужишь, стали просить священника. Архиерей говорит им:

- Нет у меня для вас священника, к вам на приход уже никто не желает ехать...

Но те не отступают, просят, умоляют:

- Хоть кого-нибудь, хоть на время, а то Пасха приближается! Как в такой великий праздник без батюшки? Грех.

Смилостивился над ними архиерей, вызвал к себе бывшего в то время за штатом протоиерея Федора Миролюбова и говорит ему: «Даю тебе, отец Федор, последний шанс для исправления, назначаю настоятелем в Бузихино, продержишься там три года - все прощу».

Отец Федор от радости в ноги архиерею поклонился и, побожившись, что уже месяц, как в рот не берет ни грамма, довольный поехал к месту своего назначения.

Проходит месяц, другой, год. Никто к архиерею жалобы не шлет. Это радует его Высокопреосвященство, но в то же время и беспокоит: странно, что жалоб нет. Посылает благочинного отца Леонида Звякина узнать, как обстоят дела. Отец Леонид съездил, докладывает:

- Все в порядке, прихожане довольны, церковный совет доволен, отец Федор тоже доволен.

Подивился архиерей такому чуду, а с ним и все епархиальные работники, но стали ждать: не может такого быть, чтобы второй год продержался. Но прошел еще год, третий пошел. Не вытерпел архиерей, вызывает отца Федора, спрашивает:

- Скажи, отец Федор, как это тебе удалось с бузихинцами общий язык найти?

- А это нетрудно было, - отвечает отец Федор. - Я как приехал к ним, так сразу смекнул их главную слабость, на ней и сыграл.

- Это как же? - удивился архиерей.

- А понял я, Владыко, что бузихинцы - народ непомерно гордый, не любят, когда их поучают, вот я им и сказал на первой проповеди: так мол и так, братья и сестры, знаете ли вы, с какой целью меня к вам архиерей назначил?

Они сразу насторожились: «С какой такой целью?» - «А с такой целью, мои возлюбленные, чтобы вы меня на путь истинный направили». Тут они совсем рты разинули от удивления, а я дальше валяю: «Семинариев я никаких не кончал, а с детских лет пел и читал на клиросе и потому в священники вышел как бы полуграмотным. И, по недостатку образования, пить стал непомерно, за что и был уволен со службы за штат». Тут они сочувственно закивали головами. «И, оставшись, - говорю, - без средств к пропитанию, я влачил жалкое существование за штатом. В довершение ко всему моя жена оставила меня, не желая разделять со мной моей участи».

Как такое сказал, так у меня на глазах слезы сами собой навернулись. Смотрю, и у прихожан глаза на мокром месте. «Так бы мне и пропасть, - продолжаю я, - да наш Владыко, дай Бог ему здоровья, своим светлым умом смекнул, что надо меня для моего же спасения назначить к вам на приход, и говорит мне: «Никто, отец Федор, тебе во всей епархии не может помочь, кроме бузихинцев, ибо в этом селе живет народ мудрый, добрый и благочестивый. Они тебя наставят на путь истинный». А потому прошу вас и молю, дорогие братья и сестры, не оставьте меня своими мудрыми советами, поддержите, а где ошибусь - укажите. Ибо отныне вручаю в руки ваши судьбу свою». С тех пор мы и живем в мире и согласии.

На архиерея этот рассказ, однако, произвел удручающее впечатление.

- Что такое, отец Федор? Как вы смели приписывать мне слова, не произносимые мной? Я вас послал как пастыря, а вы приехали на приход овцой заблудшей. Выходит, не вы паству пасете, а она вас пасет?

- А по мне, - отвечает отец Федор, - все равно, кто кого пасет, лишь бы мир был и все были довольны.

Этот ответ совсем вывел архиерея из себя, и он отправил отца Федора за штат.

Бузихинцы вновь присланного священника вовсе не приняли и грозились, что если отца Федора им не вернут, то они до самого Патриарха дойдут, но от своего не отступят. Самые ретивые предлагали заманить архиерея на приход и машину его вверх колесами перевернуть, а назад не перевертывать, пока отца Федора не вернут. Но архиерей уже сам поостыл и решил скандала далеко не заводить. И отца Федора вернул бузихинцам.

Пять лет прошло с того времени. И вот теперь Слава держал телеграмму, недоумевая, что же могло произойти в Бузихине.

А в Бузихине произошло вот что. Отец Федор просыпался всегда рано и никогда не залеживался в постели; умывшись, прочитывал правило. Так начинался каждый его день. Но в это утро, открыв глаза, он почти полчаса понежился в постели с блаженной улыбкой: ночью видел свою покойную мать. Сны отец Федор видел редко. А тут такой необычный, такой легкий и светлый.

Сам отец Федор во сне был просто мальчиком Федей, скакавшим на коне по их родному селу, а мать вышла к нему из дома навстречу и крикнула: «Федя, дай коню отдых, завтра поедете с отцом на ярмарку». При этих словах отец Федор проснулся, но сердце его продолжало радостно биться, и он мечтательно улыбался, вспоминая детство. Видеть мать во сне он считал хорошим признаком, значит, душа ее спокойна, потому как в церкви за нее постоянно возносятся молитвы об упокоении.

Бросив взгляд на настенные ходики, он кряхтя встал с постели и побрел к умывальнику. После молитвы по обыкновению пошел пить чай на кухню, а напившись, расположился тут же читать только что принесенные газеты. Дверь приоткрылась - и показалась вихрастая голова Петьки, внука церковного звонаря Парамона.

- Отец Федор, а я Вам карасей принес, свеженьких, только что наловил.

- Ну проходи, показывай свой улов, - добродушно пробасил отец Федор.

Приход Пети был всегда для отца Федора радостным событием, он любил этого мальчика, чем-то напоминавшего ему своего собственного покойного сына. «О, если бы он прошел мимо, не осиротил бы своего отца, сейчас бы у меня были бы, наверное, внуки. Но так, значит, Богу угодно», - мучительно размышлял отец Федор.

Петьку без гостинца не оставлял, то конфет ему полные карманы набьет, то пряников. Но, конечно, понимал, что Петя не за этим приходит к нему, а уж больно любопытный, обо всем спрашивает отца Федора, да такие вопросы иногда мудреные задает, что и не сразу ответишь.

- Маленькие карасики, - оправдывался Петя, в смущении протягивая целлофановый мешочек с дюжиной небольших, с ладонь, карасей.

- Всякое даяние благо, - прогудел отец Федор, кладя карасей в холодильник. - Да и самое главное, что от труда рук своих принес подарок. А это я для тебя припас, - и с этими словами он протянул Петьке большую шоколадную плитку.

Поблагодарив, Петя повертел шоколад в руке, попытался сунуть в карман, но шоколад не полез, и тогда он проворно сунул его за пазуху.

- Э-э, брат, так дело не пойдет, пузо у тебя горячее, шоколад растает - и до дому не донесешь, лучше в газету заверни. А теперь, коли не торопишься, садись, чаю попьем.

- Спасибо, батюшка, мать корову подоила, так молока уже напился.

- Все равно садись, что-нибудь расскажи.

- Отец Федор, мне дед говорит, что когда я вырасту, получу от Вас рекомендацию и поступлю в семинарию, а потом буду священником, как Вы.

- Да ты еще лучше меня будешь. Я ведь неграмотный, в семинариях не учился, не те годы были, да и семинариев тогда уже не было.

- Вот Вы говорите «неграмотный», а откуда же все знаете?

- Читаю Библию, еще книжки кое-какие есть. Немного и знаю.

- А папа говорит, что нечего в семинарии делать, так как скоро Церковь отомрет, а лучше идти в сельхозинститут и стать агрономом, как он.

- Ну, сказанул твой батя, - усмехнулся отец Федор. - Я умру, отец твой умрет, ты когда-нибудь помрешь, а Церковь будет вечно стоять, до скончания века.

- Я тоже так думаю, - согласился Петя. - Вот наша церковь сколько лет стоит, и ничего ей не дается, а клуб вроде недавно построили, а уж трещина по стене пошла. Дед говорит, что раньше прочно строили, на яйцах раствор замешивали.

- Тут, брат, дело не в яйцах. Когда я говорил, что Церковь будет стоять вечно, то имел в виду не наш храм, это дело рук человеческих, может и разрушиться. Да и сколько на моем веку храмов да монастырей взорвали и поломали, а Церковь живет. Церковь - это все мы, верующие во Христа, и Он - глава нашей Церкви. Вот так, хоть твой отец грамотным на селе слывет, но речи его немудрые.

- А как стать мудрым? Сколько надо учиться, больше, чем отец, что ли? - озадачился Петя.

- Да как тебе сказать... Я встречал людей совсем неграмотных, но мудрых. «Начало премудрости - страх Господень», - так сказано в Священном Писании.

Петя хитро сощурил глаза:

- Вы в прошлый раз говорили, что Бога любить надо. Как это можно и любить, и бояться одновременно?

- Вот ты мать свою любишь?

- Конечно.

- А боишься ее?
- Нет, она же не бьет меня, как отец.
- А боишься сделать что-нибудь такое, отчего мама твоя сильно бы огорчилась?
- Боюсь, - засмеялся Петя.
- Ну тогда, значит, должен понять что это за «страх Господень».

Их беседу прервал стук в дверь. Вошла теща парторга колхоза, Ксения Степановна. Перекрестилась на образа и подошла к отцу Федору под благословение.

- Разговор у меня, батюшка, наедине к тебе, - и бросила косой взгляд на Петьку.

Тот, сообразив, что присутствие его нежелательно, распрощавшись, юркнул в дверь.

- Так вот, батюшка, - заговорщицким голосом начала Семеновна, - ты же знаешь, что моя Клавка мальчонку родила, вот два месяца как некрещеный. Сердце-то мое все изболелось: и сами невенчаные, можно сказать, в блуде живут, так хоть внучка покрестить, а то не дай Бог до беды.

- Ну а что не несете крестить? - спросил отец Федор, прекрасно понимая, почему не несут сына парторга в церковь.

- Что ты, батюшка, Бог с тобой, разве это можно? Должность-то у него какая! Да он сам не против. Давеча мне и говорит: «Окрестите, мамаша, сына так, чтобы никто не видел».

- Ну что же, благое дело, раз надо - будем крестить тайнообразующе. Когда наметили крестины?

- Пойдем, батюшка, сейчас к нам, все готово. Зять на работу ушел, а евоный брат, из города приехавший, будет крестным. А то уедет - без крестного как же?

- Да-а, - многозначительно протянул отец Федор, - без кумовьев крестин не бывает.

- И кума есть, племянница моя, Фроськина дочка. Ну, я пойду, батюшка, все подготовлю, а ты приходи следом задними дворами, через огороды.

- Да уж не учи, знаю...

Семеновна вышла, а отец Федор стал неторопливо собираться. Перво-наперво проверил принадлежности для крещения, посмотрел на свет пузырек со Святым Мирром, уже было почти на дне. «Хватит на сейчас, а завтра долью». Уложил все это в небольшой чемоданчик, положил Евангелие, а поверх всего облачение. Надел свою старую рясу и, выйдя, направился через огороды с картошкой по тропинке к дому парторга.

В просторной, светлой горнице уже стоял тазик с водой, а к нему три прикрепленные свечи. Зашел брат парторга.

- Василий, - представился он, протягивая отцу Федору руку. Отец Федор, пожав руку, отрекомендовался:

- Протоиерей Федор Миролюбов, настоятель Никольской церкви села Бузихино.

От такого длинного титула Василий смутился и, растерянно заморгал, спросил:

- А как же по отчеству величать?

- А не надо по отчеству, зовите проще: отец Федор или батюшка, - довольный произведенным эффектом, ответил отец Федор.

- Отец Федор-батюшка, Вы уж мне подскажите, что делать. Я ни разу не участвовал в этом обряде.

- Не обряд, а таинство, - внушительно поправил отец Федор совсем растерявшегося Василия. - А Вам ничего и не надо делать, стойте здесь и держите крестника.

Зашла в горницу и кума, четырнадцатилетняя Анютка, с младенцем на руках. В комнату с беспокойным любопытством заглянула жена парторга.

- А маме не положено здесь на крестинах быть, - строго сказал отец Федор.

- Иди, иди, дочка, - замахала на нее руками Семеновна. - Потом позовем.

Отец Федор не спеша совершил крещение, затем позвал мать мальчика и после краткой проповеди о пользе воспитания детей в христианской вере, благословил мать, прочитав над ней молитву.

- А теперь, батюшка, к столу просим, надо крестины отметить и за здоровье моего внука выпить, - захопотала Семеновна.

В такой же просторной, как горница, кухне был накрыт стол, на котором одних разносолов не пересчитать: маринованные огурчики, помидорчики, квашеная белокочанная капуста, соленые груздочки под сметанкой и жирная сельдь, нарезанная крупными ломтиками, посыпанная колечками лука и политая маслом. Посреди стола была водружена литровая бутылка с прозрачной, как стекло, жидкостью. Рядом в большой миске дымился вареный картофель, посыпанный зеленым луком. Было от чего разбежаться глазам. Отец Федор с уважением посмотрел на бутылку.

Семеновна, перехватив взгляд отца Федора, торопясь пояснила:

- Чистый первак, сама выгоняла, прозрачный, как слезинка. Ну что же ты, Вася, приглашай батюшку к столу.

- Ну, батюшка, садитесь, по русскому обычаю трахнем по маленькой за крестника, - довольно потирая руки, сказал Василий.

- По русскому обычаю надо сперва помолиться и благословить трапезу, а уж потом садиться, - назидательно сказал отец Федор и, повернувшись к переднему углу, хотел осенить себя крестным знамением, однако рука, поднесенная ко лбу, застыла, так как в углу висел лишь портрет Ленина.

Семеновна запрочитала, кинулась за печку, вынесла оттуда икону и, сняв портрет, повесила ее на освободившийся гвоздь.

- Вы уж простите нас, батюшка, они ведь молодые, все партийные.

Отец Федор прочел «Отче наш» и широким крестом благословил стол:

- Христе Боже, благослови ястие и питие рабом Твоим, яко Свят еси всегда, ныне и присно и во веки веков, аминь.

Слово «питие» он как-то выделил особо, сделав ударение на нем. Затем они сели, и Василий тут же разлил по стаканам самогон. Первый тост провозгласили за новокрещенного младенца. Отец Федор, выпив, разгладил усы, прорек:

- Хорош первач, крепок, - и стал закусывать квашеной капустой.

- Да разве можно его сравнить с водкой, гадость такая, на химии гонят, а здесь свой чистоган, - поддакнул Василий. - Только здесь, как приедешь из города домой, и можно нормально отдохнуть, расслабиться. Недаром Высоцкий поет: «Если водку гнать не из опилок, то чаво б нам было с трех-четырёх, пяти бутылок?!» - и засмеялся. - И как верно подметил, после водки у меня голова болит, а вот после первака - хоть бы хны, утром опохмелишься - и опять пить целый день можно.

Отец Федор молча отдавал должное закуским, лишь изредка кивая в знак согласия головой.

Выпили по второй, за родителей крещеного младенца. Глаза у обоих заблестели и, пока отец Федор, густо смазав горчицей холодец, заедал им вторую стопку, Василий, перестав закусывать, закурил папиросу и продолжил разглагольствовать:

- Раньше люди хотя бы Бога боялись, а теперь, - он досадливо махнул рукой, - теперь никого не боятся, каждый что хочет, то и делает.

- Это откуда ты знаешь, как раньше было? - ухмыльнулся отец Федор, глядя на захмелевшего кума.

- Так старики говорят, врать-то не станут. Нет, рано мы религию отменили, она ох как бы еще пригодилась. Ведь чему в церкви учат: не убий, не укради... - стал загибать пальцы Василий. Но на этих двух заповедях его запас знаний о религии кончился, и он, ухватившись за третий палец, стал мучительно припоминать еще что-нибудь, повторяя вновь:

- Не убий, не укради...

- Чти отца своего и мать свою, - пришел ему на выручку отец Федор.

- Во-во, это я и хотел сказать, чти. А они разве чтут? Вот мой балбес, в восьмой класс пошел, а туда же... Понимаешь ли, отец для него - не отец, мать - не мать. Все по

подъездам шляется с разной шпаной, домой не загонишь, школу совсем запустил, - и Василий, в бессилии хлопнув руками по коленям, стал разливать по стаканам. - А ну их всех, батюшка, - и, схватившись рукою за рот, испуганно сказал: - Чуть при Вас матом не ругнулся, а я ведь знаю: это грех... при священнике... меня Семеновна предупреждала. Ты уж прости меня, отец Федор, мы - народ простой, у нас на работе без мата дело не идет, а с матом - так все понятно. А это грех, батюшка, на работе ругаться матом? Вот ты мне ответь.

- Естественно, грех, - сказал отец Федор, заедая стопку груздочком.

- А вот не идет без него дело! Как рассудить, если дело не идет? - громко икнув, развел в недоумении руками Василий. - А как ругнешься хорошенько, - рубанул он рукой воздух, - так пошло - и все дела, вот такие пироги. А Вы говорите: «Грех».

- А что я должен сказать, что это богоугодное дело, матом ругаться? - недоумевал отец Федор.

- Э-э, да не поймете Вы меня, вот так и хочется выругаться, тогда б поняли.

- Ну выругайся, если так хочется, - согласился отец Федор.

- Вы меня на преступление толкаете, чтобы я - да при святом отце выругался... Да ни за что!

Отец Федор видел, что сотрапезник его изрядно закосел, выпивая без закуски, и стал собираться домой. Василий, окончательно сморенный, уронил голову на стол, бормоча:

- Чтобы я выругался, да не х... от меня не дождетесь, я всех в...

В это время зашла Семеновна:

- У, нажрался, как скотина, пить культурно - и то не умеет. Ты уж прости нас, батюшка.

- Ну что ты, Семеновна, не стоит.

- Сейчас, батюшка, тебя Анютка проводит. Я тебе тут яичек свежих положила, молочка, сметанки да еще кое-чего. Анютка снесет.

Отец Федор благословил Семеновну и пошел домой. Настроение у него было прекрасное, голова чуть шумела от выпитого, но при такой хорошей закуске для него это были пустяки.

На лавочке перед его домом сидела хромая Мария.

- Ох, батюшка, слава Богу, слава Богу, дождалась, - заковыляла Мария под благословение отца Федора. - А то ведь никто не знает, куда ты ушел, уж думала - в район уехал, вот беда была бы.

- По какому делу, голубушка? - благословляя, спросил отец Федор.

- Ах, батюшка, ах, родненький, да у Дуньки Кривошейной горе, горе-то какое. Сынок ее Паша, да ты его знаешь, он прошлое летось привозил на тракторе дрова к церкви. Ну так вот, позавчера у Агриппины, что при дороге живет, огород пахали. Потом, знамо дело, расплатилась она с ними, как полагается, самогоном. Так они, заразы, всю бутылку выпили и поехали. «Кировец»-то, на котором Пашка работал, перевернулся, ты знаешь, какие высокие у трассы обочины. В прошлом году, помнишь, Семен перевернулся, но тот жив остался. А Паша наш, сердечный, в окно вывалился, и трактором-то его придавило. Ой, горе-то, горе матери евоной Дуньке, совсем без кормильца осталась, мужа схоронила, теперь сынок. Уж, батюшка, дорогой наш, Христом Богом просим, поедem, послужим панихидку над гробом, а завтра в церковь повезут отпевать. Внучек мой тебя сейчас отвезет.

- Хорошо, поедem, поедem, - захлопотал отец Федор. - Только ладан да кадило возьму.

- Возьми, батюшка, возьми, родненький, все, что тебе надо, а я пожду здесь, за калиткой.

Отец Федор быстро собрался и через десять минут вышел. У калитки его ждал внук Марии на мотоцикле «Урал». Позади его примостилась Мария, оставив место в коляске для отца Федора. Отец Федор подобрал повыше рясу, плюхнулся в коляску:

- Ну, с Богом, поехали.

Взревел мотор и понес отца Федора навстречу его роковому часу. Около дома Евдокии Кривошеиной толпился народ. Дом маленький, низенький, отец Федор, проходя в дверь, не нагнулся вовремя и сильно ударился о верхний дверной косяк; поморщившись от боли, пробормотал:

- Ну что за люди, такие низкие двери делают, никак не могу привыкнуть.

В глубине сеней толпились мужики.

- Отец Федор, подойди к нам, - позвали они.

Подойдя, отец Федор увидел небольшой столик, в беспорядке уставленный стаканами и нехитрой закуской.

- Батюшка, давай помянем Пашкину душу, чтоб земля была ему пухом.

Отец Федор отдал Марии кадило с углем и наказал идти разжигать. Взял левой рукой стакан с мутной жидкостью, правой широко перекрестился:

- Царство Небесное рабу Божию Павлу, - и одним духом осушил содержимое стакана. «Уже не та, что была у парторга», - подумал он. От второй стопки, тут же ему предложенной, отец Федор отказался и пошел в дом.

В горнице было тесно от народа. Посреди комнаты стоял гроб. Лицо покойника, еще молодого парня, почему-то стало черным, почти как у негра. Но вид был значительный: темный костюм, белая рубашка, черный галстук, словно и не тракторист лежал, а какой-нибудь директор совхоза. Правда, руки, сложенные на груди, были руками труженика, мазут в них до того въелся, что уже не было никакой возможности отмыть.

Прямо у гроба на табуретке сидела мать Павла. Она ласково и скорбно смотрела на сына и что-то шептала про себя. В душной горнице отец Федор почувствовал, как хмель все больше разбирает его. В углу, около двери и в переднем углу, за гробом, стояли бумажные венки. Отец Федор начал панихиду, бабки тонкими голосами подпевали ему. Как-то неловко махнув кадилом, он задел им край гроба. Вылетевший из кадила уголек подкатился под груды венков, но никто этого не заметил.

Только отец Федор начал заупокойную ектенью, как раздались страшные вопли:

- Горим, горим!

Он обернулся и увидел, как ярко полыхают бумажные венки. Пламя перекидывалось на другие. Все бросились в узкие двери, в которых сразу же образовалась давка. Отец Федор скинул облачение, стал наводить порядок, пропихивая людей в двери. «Вроде все, - мелькнуло у него в голове. - Надо выбегать, а то будет поздно». Он бросил последний взгляд на покойника, невозмутимо лежащего в гробу, и тут увидел за гробом сгорбившуюся фигуру матери Павла - Евдокии. Он бросился к ней, поднял ее, хотел нести к двери, но было уже поздно, вся дверь была объята пламенем. Отец Федор подбежал к окну и ударом ноги вышиб раму, затем, подтащив уже ничего не соображавшую от ужаса Евдокию, буквально выпихнул ее из окна.

Потом попробовал сам, но понял, что в такое маленькое окно его грузное тело не пролезет. Стало нестерпимо жарко, голова закружилась; падая на пол, отец Федор бросил взгляд на угол с образами - Спаситель был в огне. Захотелось перекреститься, но рука не слушалась, не поднималась для крестного знамени. Перед тем как окончательно потерять сознание, он прошептал: «В руце Твои, Господи, Иисусе Христе, предаю дух мой, будь милостив мне, грешному».

Икона Спасителя стала коробиться от огня, но сострадательный взгляд Христа по-доброму продолжал взирать на отца Федора. Отец Федор видел, что Спаситель мучается вместе с ним.

- Господи, - прошептал отец Федор, - как хорошо быть всегда с Тобой.

Все померкло, и из этой меркнувшей темноты стал разгораться свет необыкновенной мягкости, все, что было до этого, как бы отступило в сторону, пропало. Рядом с собой отец Федор услышал ласковый и очень близкий для него голос:

- Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю.

Через два дня приехал благочинный, отец Леонид Звякин, и, вызвав из соседних приходов двух священников, возглавил чин отпевания над отцом Федором. Во время отпевания церковь была заполнена до отказа народом так, что некоторым приходилось стоять на улице. Обнеся гроб вокруг церкви, понесли на кладбище. За гробом, рядом со звонарем Парамоном, шел его внук Петя. Взгляд его был полон недоумения, ему не верилось, что отца Федора больше нет, что он хоронит его.

В Бузихино на день похорон были приостановлены все сельхозработы. Немного посторонясь, шли вместе с односельчанами председатель и парторг колхоза. Скорбные лица бузихинцев выражали сиротливую растерянность. Хоронили пастыря, ставшего за эти годы всем односельчанам родным и близким человеком. Они к нему шли со всеми своими бедами и нуждами, двери дома отца Федора всегда были для них открыты. К кому придут они теперь? Кто их утешит, даст добрый совет?

- Не уберегли мы нашего батюшку-кормильца, - причитали старушки, а молодые парни и девчата в знак согласия кивали головами: не уберегли.

В доме священника для поминок были накрыты столы лишь для духовенства и церковного совета. Для всех остальных столы поставили на улице в церковной ограде, благо погода была хорошая, солнечная.

Прямо возле столов стояли фляги с самогоном, мужики подходили и зачерпывали, кто сколько хочет. Около одного стола стоял Василий, брат парторга, уже изрядно захмелевший, он объяснял различие между самогоном и водкой.

- А что ты в деревню не вертаешься? - вопрошали мужики.

- Э-э, братки, а жена-то! Она же у меня городская, едрена вошь! Так и хочется выругаться, но нельзя, покойник особый! Мировой был батюшка, он не велел - и не буду, но обидно, что умер, потому и ругаться хочется.

За другим столом Захар Матвеевич, сварщик с МТС, рассказывал:

- Приходит как-то ко мне отец Федор, попросил пилку. Ну мне жалко, что ли? Я ему дал. Утром пошел в сад, смотрю: у меня все яблони обработаны, чин-чинарем. Тут я сообразил, для чего он у меня пилку взял: заметил, что я давно сад запустил, он его и обработал. Ну где вы еще такого человека встретите?

- Нигде, - соглашались мужики. - Такого батюшку, как наш покойный отец Федор, во всем свете не сыщешь.

В доме поминальная трапеза шла более благообразно, нежели на улице. Все молча кушали, пока, наконец, батюшка, сидевший рядом с благочинным, не изрек:

- Да, любил покойничек выпить, Царство ему Небесное, вот это его и сгубило. Был бы трезвый, непременно выбрался бы из дома, ведь никто больше не сгорел...

- Не пил бы отец Федор, так и пожара бы не случилось, - назидательно оборвал благочинный.

На сороковой день мужики снова устроили грандиозную пьянку на кладбище, проливая хмельные слезы на могилу отца Федора.

Прошел ровно год. Холмик над могилой отца Федора немного просел и зарос пушистой травкой. Рядом стояла береза, за ней, в сооруженном Петькой скворечнике, жили птицы. Они пели по утрам над могилой. По соседству был захоронен тракторист Павел. В день годовщины около его могилы сидела, сгорбившись, Евдокия Кривошеина. Она что-то беззвучно шептала, когда к могиле отца Федора подошел Петя. На плече у него была удочка, в руках пустой мешочек.

- Эх, тетя Дуся, - с сокрушением вздохнул Петя, - хотел отцу Федору принести карасиков на годовщину, чтоб помянули, он ведь очень любил жареных карасей в сметане. Так на прошлой неделе Женька Путяхин напился и с моста трактор свалил в пруд, вместе с тележкой, а она полная удобрений химических. Сам-то он жив остался, а рыба вся погибла.

Петя еще раз тяжело вздохнул, глядя на могилу отца Федора.

На могиле лежали яички, пирожки, конфеты и наполовину налитый граненый стакан, покрытый сверху кусочком хлеба домашней выпечки. Петя молча взял стакан, снял с него хлеб, в нос ударил тошнотворный запах сивухи; широко размахнувшись рукой, он далеко от могилки выплеснул содержимое стакана. Затем достал из-за пазухи фляжку, в которую загодя набрал чистой воды из родника, что за селом в Большом овраге, наполнил водой стакан, положил снова на него хлеб и осторожно поставил на могильный холмик.

Затем внимательно взглянул на портрет отца Федора, укрепленный на дубовом восьмиконечном кресте. С портрета на него смотрел отец Федор, одобрительно улыбаясь. Петя улыбнулся отцу Федору в ответ, а по щекам его текли чистые детские слезы.

*Волгоград, 1990 г.*

## Михаил Шишкин Урок каллиграфии

Заглавная буква, Софья Павловна, есть начало всех начал, так что с нее и начнем. Если хотите, это все равно что первое дыхание, крик новорожденного. Еще только что ничего не было, абсолютно ничего, пустота, и еще сто, тысячу лет могло бы ничего не быть, но вот перо, подчиняясь недоступной ему высшей воле, вдруг выводит заглавную букву и остановиться уже не может. Являясь одновременно первым движением пера к точке, это есть знак и надежды и бессмыслицы сущего. В первой букве, как в эмбрионе, затаена вся последующая жизнь до самого конца — и дух, и ритм, и напор, и образ.

Не утруждайте себя так, Евгений Александрович. Я – курица, а вот моя лапка. Лучше расскажите что-нибудь забавное. У вас ведь на службе каждый день что-то интересное, всякие преступления, убийцы, проститутки, насильники.

Да какие они, господа, преступники. Обыкновенные люди. Кто в винном дурмане, кто в беспамятстве натворили невесь что, а теперь сами себе ужасаются, мол, знать не знаем, ведать не ведаем, и вообще, как вы могли подумать, что я, такой хороший и добрый, мог такое совершить! И вот пишут, пишут куда только можно прошения, ходатайства, молят о снисхождении, а перо держать толком никто не умеет. Позвольте я вам покажу. Левую сторону среднего пальца нужно близ ногтя приставить к правой стороне пера. Вот так. Большой палец, тоже близ ногтя, прикладывается к левой стороне, а указательный сверху не нажимает, но лишь касается, как бы поглаживает перу спинку. Опирается же перо об основание третьего сустава указательного пальца. Эти три пальца и называются писательными. Ни мизинец, ни безымянный не должны дотрагиваться до бумаги. Между рукой и бумагой всегда должно быть пространство, воздух. Если рука не свободна, лежит на бумаге или упирается хоть кончиком мизинца – не может быть свободы в движении кисти. Перо должно касаться бумаги слегка и непринужденно, без малейшего напряжения, как бы играя. А мизинец и безымянный, уверяю вас, есть лишь животные атавизмы, и без них можно писать и креститься.

Вот видите, и у меня ничего не получается. А я, знаете, решила тут как-то на днях утопиться. Да-да, не смейтесь. Нацарапала короткую записку и прилепила на зеркало. Но сначала почему-то решила сходить в баню, не знаю почему. Отчего-то запомнилась одна здоровая рыжая баба, она мыла голову напротив меня. Вся усыпана веснушками – и грудь, и живот, и спина, и ноги. Волосы густые, длинные и впитывали в себя столько воды, что когда эта рыжая распрямлялась, в шайке было почти пусто, а на дно обрушивался целый водопад. А когда я наконец пришла на мост, внизу плыла какая-то баржа. Мужики оттуда что-то кричали и хохотали, мол, давай, прыгай. Я жду, когда она пройдет, а следом еще одна баржа и еще. С каждой что-то кричали, смеялись, и конца этим баржам не было видно. Мне тоже стало вдруг смешно, и я пошла домой, там еще, слава богу, никого не было. Сорвала записку, схватила буханку хлеба и почти всю сжевала. Впрочем, все это не имеет никакого значения, продолжайте. На чем мы остановились?

Что ж, давайте перейдем к черте. Но прежде всего выпрямитесь, освободитесь, невозможно писать сгорбясь или навытяжку. Так вот, в основе всего лежит линия, штрих, черта. Возьмите в пространстве две любых точки, два любых предмета – и между ними можно провести связывающую их линию.

Между всеми вещами на свете существуют эти невидимые штрихи, все ими взаимосвязано и нерасторжимо. И расстояния здесь не играют никакой роли – линии эти

растягиваются, как резиночки, только еще сильнее связывая предметы. Видите, тянется линия между чернильницей и вот этим тузом, слетевшим на паркет, между педалью фортепьяно и тенью от веток на подоконнике, между мной и вами. Это своего рода жилы, которые не дают миру рассыпаться. Проведенная пером линия и есть эта, как бы овеществленная связь. И буквы – не что иное, как штрихи, линии, завязанные для прочности узелками и петельками. Перо завязывает черту в форму, образ, придает ей смысл и дух, как бы очеловечивает ее. Попробуйте провести ровную линию! Ну вот, теперь полюбуйтесь на этот дрожащий изогнутый волосок. Смертному не дано провести прямую. Прямая линия есть недостижимый в природе идеал, к которому стремится бесчисленное множество кривых. Так и буквы лепятся вкривь и вкось, тогда как в каждой из них заложена гармония, красота – в соразмерности изгибов, в стремительности наклона, в правильности пропорций. Перо — только регистратор, что безошибочно запечатлевает на бумаге все мечты и страхи, добродетели и пороки, толкающие вас под руку при каждом нажиме. Все происходящее в вашей жизни немедленно оказывается на кончике вашего пера. Расскажите мне о человеке, и я определю без ошибки, какой у него почерк.

Вот и начните с меня.

Вы – чудная, вы – необыкновенная, вы сами не понимаете, какая вы. А почерк у вас, Татьяна Дмитриевна, чистый, свежий, детский, даже буквы к концам строк растут...

Не продолжайте, Евгений Александрович! Какой вы все-таки душка. Взгляните-ка на какое-нибудь мое письмецо. Хоть на это. Нет, лучше на это. Нет, не надо. Да бог с ним, с почерком. Просто вы, хитрющий вдовец, волочитесь за мной, вот и плетете простодушной легковерной женщине всякое. Я же вас насквозь вижу и без всякого почерка. Ведь вы ко мне равнодушны, не так ли? Ну-ка, признавайтесь в любви сейчас, немедленно. Хотя все это ни к чему. Лучше молчите.

Подумать только, уже восемь годков, как нет больше моей Оли. А она ведь и не умерла вовсе. Ни с кем с тех пор об этом не говорил, а вам расскажу. У нас с ней всякое было, но худо ли бедно прожили столько вместе, и вдруг оказалось, что со мной рядом совершенно незнакомый, чужой человек. В свое время у Оли стал мутнеть правый глаз, она начала слепнуть. Я повез ее в Москву, нашел профессора, сделали операцию. Слава богу, все обошлось. И вот с тех пор раз в полгода, а в последнее время все чаще, она ездила проверяться. На мои расспросы отвечала, что все хорошо, а мне казалось, она что-то недоговаривает.

Я боялся, что Оля слепнет и молчит об этом. Она очень изменилась, стала замкнутой, раздражалась из-за пустяка, часто плакала по ночам. Раньше она любила по вечерам читать Коленке книжки, теперь даже не притрагивалась к ним. Мне было страшно. Я хотел чем-то помочь, понимал, что ничего не могу сделать и оттого любил ее еще сильнее. И вот как-то за ужином Оля разливала чай, и у нее прямо в руках разорвался фарфоровый чайник. Нас ошпарило, мы вскочили. И тут Оля стала кричать, что больше так жить не может, что ненавидит себя, но еще больше меня, что в Москву она ездит ни к какому не профессору, а к человеку, который ее любит и которого любит она. Я с трудом понимал, что она говорит. «Что ты хочешь?» – спросил я. «Я хочу не видеть тебя! – снова закричала Оля. – Я лучше удавлюсь, но так дальше жить не буду. Я уйду к нему. Я люблю его». – «А Коля? Как же Коля?» Она заплакала. «Но все это невозможно, – сказал я. – Я не могу жить без Коли, а Коля без тебя. Ты хочешь бросить сына? Невозможно, чтобы Коля всю жизнь стыдился своей матери и презирал ее. Этого не будет. Не может быть».

«Я знаю, – услышал я в ответ, – ты хочешь, чтобы я умерла! Хорошо, я умру!» Она вскочила и побежала вон из комнаты. Я попытался задержать ее: «Что ты мелешь! Прекрати!» Она вырвалась и заперлась у себя. Я испугался, стал стучать в дверь, но Оля вдруг открыла и почти спокойным голосом сказала: «Не ломай дверь, все хорошо». На следующий день за завтраком в присутствии Коли она заявила, что у нее опять что-то с глазами и завтра же она поедет в Москву в клинику. Что я мог сказать ей? Вместе с Колей мы поехали провожать маму на вокзал. Оля плакала, без конца целовала и тискала Колю. Мальчик вырывался и все просил привезти ему ружье. Утром другого дня пришла телеграмма из Рязани. Оле по дороге стало плохо, ее сняли с поезда, и прямо на вокзале она умерла. Телеграмму принесли, пока меня не было дома. Когда я прибежал со службы, у всех были серые заплаканные лица, только Коле ничего не говорили. Мальчик приставал ко всем: «Что случилось? Что-нибудь с мамочкой?» – «Нет-нет, – говорил я ему, – все хорошо, все хорошо». В тот же вечер я выехал за ней. Ехать было всю ночь. Попутчик жаловался на бессонницу и предложил мне играть в шахматы. Мы передвигали фигуры до самого утра. Иногда я забывался, но когда вспоминал, что произошло и куда еду, то принимался выть. Сосед вздрагивал, испуганно смотрел на меня. Вагон трясло, доска дрожала, фигуры все время выползали из своих клеток. Я переставал выть и поправлял их. На вокзале рано утром меня встретила Оля, какая-то чужая, красивая, в незнакомом мне платье. Увидев меня, она замахала рукой и разрыдалась. Первым моим порывом было ударить ее по лицу, я еле сдержался: «Что происходит?» Она только мотала головой и ничего не могла произнести. Ее всю трясло.

Я усадил Олю на скамейку: «Послушай, Коля еще ничего не знает. Поедем домой, объясним, что вышло недоразумение!» Наконец Оля пришла в себя. «Не перебивай меня, – сказала она. – Я уже все решила, что бы вы там все про меня ни думали. Место в багажном отделении уже оплачено. Остались пустяки: обивка, ленточки. Поезд в семь вечера, мы успеем». Все это было дико и невозможно, я ходил за ней, как в бреду. В магазине она долго и придирчиво выбирала ткань и ленты. Все ей не нравилось: то цвет не гармонировал, то материал казался никудышным. Она потащила меня в другой магазин, потом мы снова вернулись в первый. Пошли в какую-то контору, потом еще в какую-то и еще. К шести обитый голубым в рюшечках и бантиках гроб уже был на вокзале в отдельной комнате, оказывается, и такая предусмотрена. Мы зашли в буфет. Она смотрела в тарелку застывшим взглядом и молча глотала.

Я не выдержал, закричал: «Но как же Коля?» – «У меня будет еще ребенок», – спокойно сказала она.

Я бросился прочь, испугался, что могу убить ее. На обратном пути, чтобы избежать расспросов, поехал в почтовом вагоне. Заспанный служащий, перебирая почту, пробурчал: «Я этих покойников столько за свою жизнь перевез. Чай будете?» Я отказался. Он долго пил, гнусно прихлебывая, потом улегся и захрапел. Вагон швыряло, все грохотало, тряслось. В свете ночников было видно, как отовсюду лезли тараканы. Рядом, за деревянной перегородкой ехал пустой гроб. Я никак не мог понять, что происходит, не мог представить себе, что наступит утро, будут похороны. Перед глазами все время появлялся Коля, просивший маму привезти ружье. Мне казалось, что наступил конец света, что завтрашнего дня и вообще последующей жизни уже не будет, не должно быть. Но вот наступило утро, и на вокзале меня уже ждали с похоронными дрогами. Было много слез, причитаний, вздохов, еще больше суеты, неразберихи. Хотели везти гроб домой, но я настоял на том, чтобы сразу отправили его в церковь. Я велел ни в коем случае не

открывать крышку. Больше всего боялся встречи с Колей. Когда вошел к нему, он бросился ко мне на руки. Коленка рыдал, я ходил с ним по комнате, целовал в мягкий, пахнувший родным затылок. «Вот и нет больше нашей мамочки», – шептал я. Похороны были на следующий день. Мне жали руку, что-то говорили. Многие в соболезнованиях своих притворялись, я чувствовал это, даже услышал краем уха что-то злое про Олю. Приехала ее мать, молодящаяся дама, надушенная, одетая в черное, но изысканно. Я с ужасом подумал, что и она участвует в этом нечеловеческом розыгрыше, но увидев гроб, мать заплакала и стала требовать, чтобы его открыли: «Покажите мне мою доченьку! Что бы с ней ни было, я хочу увидеть ее в последний раз!» Я еле отговорил ее. На поминках все убеждали меня пить: «Выпейте, Евгений Александрович! Поверьте, вам легче станет!» Но я даже не притронулся к рюмке. Вечером после похорон я еле уложил Колю – он все плакал. Я хотел было почитать ему что-нибудь, но он вдруг посмотрел на меня злыми, ненавидящими глазами: «Прекрати, папа, как ты можешь!»

Я взял отпуск и отвез Колю в Ялту, чтобы ребенок пришел в себя, развеялся. Первое время мальчик ходил как во сне, ни на что не обращал внимания, ничего не хотел есть. Потом на соседнюю дачу приехала какая-то женщина из Сызрани с тремя сыновьями, чуть постарше Коли, и мальчишеская компания быстро увлекла его. С утра до ночи они носились, бесились, дрались. Коля как-то незаметно загорел, подрос, окреп, выучился хорошо плавать. Один раз на пляже, когда мы были с ним вдвоем, он вдруг нырнул и долго-долго не показывался над водой. Я вскочил, побежал, хотел уже сам нырять, но тут он вынырнул совсем в другом месте и стал бить кулаками по воде: «Испугался! – радостно кричал он сквозь брызги. – Испугался!» Коля все время бегал босиком, ноги огрубели, и я каждый вечер смазывал его пятки, отвердевшие, обросшие твердой подковкой, чтобы не растрескались, жиром. Сызрянка сперва одолевала меня рассказами про своего мерзавца-мужа, потом отстала и каждый день появлялась в обществе мускулистого грека. Через год я получил от Оли письмо, почему-то из Киева. Оно было написано изломанным почерком, но ее рукой, хотя подпись стояла какой-то Сорокиной. Оля писала, что у нее родилась чудная девочка, что с новым мужем они души не чают друг в друге и что она совершенно счастлива.

Но уже прошло столько лет, а вы все еще один, Евгений Александрович...

Как вам объяснить это, Настасья Филипповна? Однажды мне пришлось задержаться на службе. Готовил выписку из какого-то дела. Кажется, в тот раз речь шла о молодом человеке, который убил мать своего товарища, служившего в это время в армии. Юношу в гот же день нашли, и он не отпирался, только все твердил, что она сама его напоила и соблазнила. К материалам следствия была приложена фотография: голое тело на полу, жирное, исковерканное. Такие снимки чуть ли не в каждом деле, ничего необыкновенного. Когда я вышел, на улице уже было темно, холодный такой осенний вечер. Я пошел домой, а куда еще мог идти? Пока Коля жил дома, я всегда старался приходиться пораньше, чтобы накормить его, проверить уроки; поиграть во что-нибудь. Мы вырезали из бумаги человечков, рисовали им лица и придумывали разные истории – у Коли была удивительная фантазия. Он придумывал такие добрые сказки и всегда всех спасал. Коля все про себя рассказывал: про ребят, про учителей, про отметки, про все свои дружбы и ссоры. А теперь я заставлял себя идти в пустой дом. И вот в тот день, зная, что опять будет бесконечный бестолковый вечер, я шел домой самой длинной дорогой, потом еще сделал крюк и еще, и так ходил час, а может, два. сам не знаю зачем, и вдруг оказался у вашего дома. На улице никого не было, фонари не горели, я открыл калитку и вошел. В

саду было темно, свет падал только из окон. Я подошел совсем близко. Незадернутая занавеска открывала почти полкомнаты, там никого не было. Вдруг вошли вы и посмотрели в окно, прямо на меня. Я испугался, хотел спрятаться за дерево, но застыл, оцепенел. Вы стояли так близко, что не могли меня не видеть, но лицо ваше даже не дрогнуло. Вы повернулись одним боком, другим, провели ладонями по бедрам, глядя в свое отражение, что-то поправили в прическе, отвернулись, прошли по комнате вокруг стола. Вы что-то сказали сами себе. За двойными рамами не было слышно. Я только видел движение ваших губ. Неожиданно вырос ваш муж – он лежал все это время на диване, а теперь встал, в халате, растрепанный, с взъерошенными волосами, с усталым, заспанным лицом. Наверно, пришел со службы и задремал. Он обнял вас, положил вам голову на плечо, закрыл глаза. Тут привели детей, верно, прощаться на ночь, потому что они были уже в ночных рубашках, розовых от абажура. Вы перекрестили и дочь и сына, поцеловали в лобик. Девочка все протягивала вам книжку, наверно, уговаривала почитать ей перед сном. Вы сначала качали головой, и лицо ваше было строгим, но дочка так упрашивала, что вы улыбнулись и уселись рядом в кресло. Ваша крошка долго ерзала, устраиваясь, потом замерла, открыв ротик и улетев воображением в стран}7 троллей, или гадких утят, или заколдованных лягушек, туда, где нам с вами никогда не побывать. А супруг ваш тем временем затеял играть с сыном в жмурки, вставил монету в глаз, будто монокль, и, загребая руками, гонялся по комнате за мальчиком. Ребенок был в таком восторге, что крики, визг и смех выплескивались за окно и разносились по застывшему холодному саду). Вы несколько раз пытались успокоить обоих, строго говорили что-то, наверно, что нельзя возбуждать детей перед сном или что-нибудь в этом роде, но сами не могли удержаться от смеха и даже наподдали книжкой и одному и другому. Монетка выскочила, ваш муж полез за ней под кресло, мальчик тут же вскочил ему на шею, девочка тоже запрыгнула па папу верхом. Вы все хохотали. Наконец детей увели спать. Ваш супруг закурил, сел с газетой в угол дивана под лампу. Вы устроились рядом с толстенным томом. Потом встали, принесли подушку, взбили ее в другом конце дивана и легли, закутав ноги в огромный теплый платок. Так вы долго читали, и ваши ноги лежали у него на коленях. Один раз вы вместе посмотрели куда-то в угол, вверх, это били часы. Иногда он читал вам что-то вслух, какую-нибудь забавную заметку. При этом смеялся и мотал головой, а вы только слегка улыбались, даже не поднимая глаз, так увлекла вас книга. Потом он сложил газету, зевнул, сказал вам что-то, в ответ вы лишь кивнули, и ушел. Вы все читали и читали, то сидя, поджав под себя ноги, то ложились на спину. Время от времени вынимали шпильку из волос и чесали в голове. Я не замечал, что холодно, что совсем продрог, – никак не мог уйти, все стоял и смотрел на вас. Один раз вы встали, достали коробку конфет из буфета. Положили ее себе на колени и ели одну за другой, а обертку скатывали шариком и щелчком выстреливали куда придется. Вдруг откуда-то сверху, со второго этажа, донесся детский плач.

Вы вскочили, бросили книгу на стол и с испуганным лицом бросились из комнаты. Долго никого не было.

Потом на какое-то мгновение появился ваш муж, и свет погас. А я все стоял и стоял. Мне страшно было уйти.

Ах вы проказник! Как только не стыдно. Седой человек, а ведете себя, как мальчик. Действительно, муж всегда читает из газет что-нибудь вслух.

Вот, например, недавно была одна история. Судили троих мужчин за изнасилование девушки, совсем еще подростка. Причем, представьте себе, все были люди с положением,

у всех семьи, дети, словом, невозможно было про них даже предположить подобное. Они, понятно, возмущались, негодовали, наняли лучших адвокатов, сами выдвигали обвинение против кого-то, мол, все это подстроено. А девочка была дочкой их общих знакомых, родители верили ей во всем и были возмущены подлостью и мерзостью своих лучших друзей. На следствии и суде девочка рассказала о таких развратных действиях, совершенных с ней, что ни у кого не возникло сомнений в истинности ее показаний. Вы понимаете, в детскую головку просто не могли бы прийти такие ужасы. Короче говоря, их осудили, но адвокаты продолжали что-то делать, было назначено еще одно следствие, и выяснилось, что эти трое невиновны, что девочка больна, что у нее отклонения в психике на эротической почве, что она все это придумала и в свои же фантазии поверила. Осужденных, понятно, из тюрьмы выпустили. Можно только себе представить, какая была в их несчастных семьях радость. А девочку посадили в специальную лечебницу, чтобы неповадно было этой мерзавке порочить честных людей. Но после всего этого в первых ее показаниях нашли такие подробности, выдумать которые просто невозможно: какая-то необычная родинка в самом интимном месте и еще что-то в том же роде. Нашлись еще свидетельства и доказательства. Наконец один из них сознался, и всех троих снова посадили, теперь уже окончательно. Но девочку при этом, самое интересное, не выпустили, потому что она действительно оказалась ненормальной, на всех бросалась, и на мужчин, и на женщин. Одним словом, все хороши. А моего мужа вы просто по-настоящему не знаете, он замечательный человек, я его очень люблю. Это человек, достойный всяческого уважения, он очень любит наших детей и меня. Всегда делает какие-нибудь сюрпризы, например, пишет мне или сам себе письма и отправляет их по почте, потом вместе их вскрываем, и он смотрит на меня – ведь делается все это, чтобы принести мне радость, – и я прихожу в восторг от идиотских писулек – чтобы ему было приятно. Я выскочила замуж как в бреду. Молоденькая дурочка влюбилась во взрослого мужчину по уши только потому, что он изредка приходил в наш дом и все время молчал. Теперь-то я понимаю, что примитивное любопытство дало пищу фантазии – и вот я уже жить не могла без этого молчуна. Потом, уже после свадьбы, наступило прозрение. Я будто пришла в себя и ужаснулась тому, что наделала, но появился наш мальчик, и я смирилась. Этот человек – прекрасный отец, умом я понимаю, что должна быть благодарна ему, но все это невыносимо. Мне отвратительны его дикие причуды в еде: он всегда ест сперва второе и потом суп, обожает крошить хлеб в молоко, видите ли, такую тюрю готовила ему в детстве мама, и он уплетает это месиво, эту разбухшую дурную жижу за обе щеки. Его носки я всегда нахожу в самых невероятных местах, а когда он что-то теряет, виноватой оказываюсь я. Он может не мыться неделями, его грязные волосы отвратительно пахнут, зато перед уходом на службу четверть часа душится, чтобы забить свой запах. Когда он лезет со своими объятиями, особенно ночью, я стараюсь представить себе, будто это не он, а кто-то другой. Вы только не подумайте, у меня и в мыслях нет изменять ему, я стала бы себя презирать после этого. Если бы я полюбила другого человека, я все равно поборола бы в себе это чувство. Достоинство важнее удовольствия. У меня есть дети, дом, я не представляю себе другой жизни, хотя в мыслях-то как раз я изменяла ему все время. Мысли эти отвратительные, ужасные, грязные, я гоню их от себя, но бороться с этим невозможно. И это еще страшнее, чем изменить наяву. Иногда я путаюсь самой себя. И это касается не только мужа, но вообще мыслей, которые овладевают мной. Доходило до невозможного. Когда я кормила первого ребенка, так уставала, была в таком нервном возбуждении из-за его бесконечных болезней, моего

постоянного недосыпания, меня так измучили его крики, плач, что однажды произошел какой-то нервный срыв, минутное помешательство. Мальчик среди ночи очередной раз закричал, а я измученная, вскочила, и во мне вдруг вскипела такая ненависть, такая злость, такое бешенство, что я готова была убить его, я даже выхватила ребенка из кровати – помню, что меня вдруг ударила мысль выкинуть его с балкона. Я так ужаснулась этому, так мне вдруг стало дико – ведь я была на секунду от непоправимого. У меня после той ночи пропало молоко. Послушайте, ведь матери не может прийти в голову убить собственного ребенка!

О чем вы говорите! Мне приходится по службе заниматься такими историями, что и выдумать подобные невозможно, а вот ничего, свыкся, служу. Один, например, поссорился с женой и зарезал хлебным ножом ее и двух детей: старшему четыре года, а младший вовсе грудничок; потом опомнился, стал резать себе вены, а пока истекал кровью, поджег квартиру и выбросился из окна. Другой принуждал к сожительству дочь, и та ночью убила его топором. Третий до смерти забил поленом брата – никак не могли поделить доставшийся в наследство дом. Четвертый истязал шестилетних близнецов, соседских детей, изнасиловал, выколол глаза и оставил умирать в заброшенном подвале, а потом вместе с родителями переживал, возмущался, участвовал в поисках, пока случайно его не уличили. Просыпаешься, завтракаешь, собираешься на службу и уже наперед знаешь все, что там будет. Он свою мать чулком задушил, тело по кускам отнес в отхожее место, а я ему: «Будьте любезны, распишитесь вот здесь!» И так изо дня в день, из года в год. Не придушил, так зарезал, не отравили, так сам умер. Не Петр, так Николай, не заботливый отец, как любящий сын. И завтра, и послезавтра, и через сто лет. Слова, и те говорят одни и те же: не видел, не знал, не был, не я. И обвинение никогда не отличается оригинальностью: «обуреваем неумной жадной наживой», «ослепленный завистью, измученный сознанием собственного ничтожества», «потерявший человеческое обличье подонок для удовлетворения своей минутной похоти», «гнусно воспользовавшись беспомощностью разбитого параличом отца», «двадцать лет ловко и коварно скрывавший свою преступную сущность под маской добропорядочности». И защита долдонит одно и то же: «Доведенный до отчаяния безысходностью, бессмысленностью жалкого существования». «Не имея другой возможности защитить поруганную честь». «Будучи жертвой тюремного воспитания – ведь родись вы в тюрьме и видя с детства вокруг себя лишь насильников и убийц». «Да, кровь пролилась, орудие убийства перед вами, но посмотрите, как раскаивается этот несчастный! Попробуйте не обвинять, а разделить горе убийцы собственного сына!» «Боже мой, вы-то сами, хлебнув лишнего, разве не испытывали хоть раз этот прилив ненависти и обиды, разве не просыпалось в вас дикое, полуживотное-полудетское желание отомстить кому-то за свою никчемную обманутую жизнь, за все мучения, несправедливости, за все, что вы претерпели от ближних и дальних» от Бога и от самого себя?» Они там творят сами не знают что, а я – пиши. И вот, чтобы не сойти с ума, возьмешь и напишешь чье-нибудь последнее слово не лапидарной скорописью, а, к примеру, пузырьчатым изящным рондо, сквозными буквами с затушевкой внутри, а приговор – ломаной фразатурой с росчерками, или готическими заломами, или батардом, или куле, или сам придумаешь что-нибудь этакое, страничку так, другую саяк. Да что там страницу, попробуйте напишите хоть слово, но так, чтобы оно было самой гармонией, чтобы одной своей правильностью и красотой уравнивало весь этот дикий мир, всю эту пещерность. Да вот хоть сегодня – судили одну особу, отравившую мужа, пропойцу и драчуна, от которого, может, давно уже нужно было освободить

натерпевшихся домочадцев, – дети у них вовсе безмозглые, уроды. И вот она в камере хотела повеситься, но ее успели сорвать, а она говорит на заседании: «Вы можете сделать со мной что хотите, вы мне никто, потому что я все равно себя убью и жить не буду, а Высший Суд меня оправдает, потому что мне жить больше не терпится». Так и сказала. А наш председатель говорит: «Так ведь это мы, милочка, и есть Высший Суд, а что вам там терпится или не терпится – не вам решать!» А та все свое бубнит: «Мне жизнь эта ваша не терпится». Я и пишу: не терпится. И одно только слово-то чего стоит! Вы только попробуйте! Прimitивная Н, может быть, и не стоит даже особого упоминания. Ее прямая палочка пишется по наклонной линии в один такт. Поставив кончик пера на начало, нужно согнуть пальцы сразу, и перо само уведет вас вниз, но при этом главное – нажим. Не дай бог ему усилиться или ослабнуть: черта не должна дышать! Пламевидное соединение – по сходству с языком пламени – выгибается сперва влево, потом вправо. В середине – утолщение, сходящееся на нет к концам. В третий такт пишется палочка с закруглением внизу. Здесь пять частей линии проводится прямо, а в шестой нажим уменьшается, и черта, округляясь, отводится вправо, оканчиваясь у невидимой линии, заключающей каждую букву в отведенное для нее пространство, если хотите, клетку. Внизу, так как палочка закругляется, между представляемым полем клетки и кончиком заключенной в нее черты получается пустой уголок. После закругления тонкая черта идет вверх, но не прямо, а дугообразно, слегка выгибаясь вправо, чтобы сразу, не отрываясь от бумаги, проникнуть в Е – коварную простушку, невзрачную на вид, но требующую для достижения желаемого осторожности и умелого обхождения. После тупорылой казарменной Н для Е необходима легкая, куртуазная линия, которая, начинаясь почти ресничным штрихом с изгибом вправо, пересекая ровно посередине наклонную, пролетает после изгиба назад, едва коснувшись потолка своей каморки, и, запрокидываясь в этой мертвой петле, стремительно бросается в полуовал с нажимом на левой стороне, причем изгиб волосного отчерка скрывается в полуовале, а не остается позади. С разлета перо устремляется ни много ни мало до верхнего угла следующей клетки, и любое дрожание или утолщение может моментально разрушить иллюзию этого свободного парения, которое с резким набором высоты превращается в В. Потайная суть этой верзилы вовсе не в сквозящих сверху и снизу пустотах, а в завершающем, неприметном с виду, но таящем опасности узелке с отчерком, за который уже нетерпеливо дергает Т. Здесь важно не торопиться запечатлеть еще затягивающуюся петельку, а дожидаться, когда узелок превратится почти в точку, – тогда уже можно опрометью броситься в три проруби подряд, благополучно снова возвращаясь в Е, Р и 11 — вовсе не буквы, а так, Г на палочке. Но дальше, дальше, в самом конце шествует Ж, эта удивительная членистоногая пава, единственная особа, разлагающаяся на целых пять тактов! В ней есть что-то и от двуглавого орла, и в то же время мягкие ее полуовалы крепко сидят на строчке, как на ступеньке. Она словно соединяет собой, будто зажим, расплзающийся мир — небо и землю, восток и запад. Она изящна, совершенна, самодостаточна. И вот, если рука была верна, если перо ни разу не дрогнуло, если все получилось, то на столе моем, вы не поверите, происходит чудо! Лист обыкновенной бумаги сам собой выделяется, высвобождается, приподнимается над происходящим! Совершенство его сразу выдает чужеродность, даже враждебность всему существу, самой природе, будто этот кусочек пространства отвоеван другим, высшим миром, миром гармонии у этого царства червей! И пусть они там ненавидят и убивают, предают и вешаются – все это лишь натура для чистописания, сырье для красоты. И в эти удивительные минуты, когда хочется писать

еще и еще, испытываешь какое-то странное, невыразимое ощущение. Верно, это и есть счастье!

Евгений Александрович, вы – сумасшедший!

Вы не понимаете, Анна Аркадьевна, потеря рассудка – это привилегия блаженных, награда избранным, а мы все наказаны за что-то. А главное, некого спросить – за что? Сами посудите, вот мой Коля. Когда он поехал учиться в Москву, я был рад за него, за моего мальчика, ставшего как-то незаметно, вдруг, юношей, студентом, с нетерпеливой реденькой бородкой. И вот не проходит и двух месяцев, как я получаю бумагу, уведомление, что сын мой находится под следствием, обвиняется в убийстве. Я все бросил, помчался туда. Следователь, который вел его дело, заявил мне, что мой Коля вместе со своим другом убил какую-то девушку, надругавшись сперва над ней. Колю поймали, а второй юноша куда-то исчез. «Вы в своем уме?!» — закричал я. «В своем. Этот мерзавец во всем сознался». Я не верил ни одному слову, я знал, что произошла какая-то ошибка, чудовищное недоразумение. Наконец нам дали свидание. Коля совершенно не изменился, даже одет был в ту же курточку, только оброс. «Коленька, зачем же ты сознался! – сразу начал я. – Ведь это не ты!» Я думал, он обнимет меня, заплачет, расскажет все, как было, но Коля стал говорить, какие прошения куда нужно писать, просил все точно запомнить, не перепутать, злился, что я никак не мог сосредоточиться. Так и сказал мне: «Отец, очнись и запоминай!» И все не мог успокоиться, что я не принес денег – со мной были лишь какие-то мелкие купюры. «Папа, – сказал он, – если есть деньги, везде можно жить, даже в тюрьме». И все же я не верил ни следователю, ни Коле. Я и сейчас не верю. Мой мальчик не мог этого сделать, он оговорил себя. Из страха. Его кто-то запугивал. А может, Коля кого-то выгораживал, спасал. На суде он так нервничал, так хотел побороть свой страх, что, наоборот, вел себя развязно, сидел развалившись, на вопросы отвечал с ухмылкой. А когда свидетель, дворник, запутался в своих показаниях, даже рассмеялся. И ужасный свой приговор – пятнадцать лет – выслушал, пожимая плечами, мол, подумаешь. Он же мальчишка еще совсем, несмышлениш, ребенок. И мне крикнул, когда его уводили: «Папа, не плачь, я тебя люблю!» Тут же в зале сидели родители той убитой. Во время заседаний мать время от времени принималась рыдать, и тогда отец уводил ее из зала, потом они возвращались и снова занимали свои места. В первый же день суда я подошел к ним и хотел что-то сказать, сам не зная что – просить ли о прощении, умолять о снисхождении, но мне не дали сказать ни слова. «Убирайтесь!» — бросил отец. Я собирал Коле вещи, писал бесконечные, бессмысленные прошения, ходатайства, часами просиживал в приемных, чтобы выяснить только, куда Колю отправят. Я уже строил планы, как приеду к нему летом, может быть, мне дадут, если удастся упробить начальника, внеочередное свидание. Но летом я заболел, слег, и поездка моя в далекий страЩный Ивдель не состоялась. Колины письма были короткими: что прислать в передаче, куда писать очередную бесполезную «помиловку», как он выражался. Так прошел год. На службе ничего не знали про Колю, а может, делали вид, что не знают, потому что раньше иногда спрашивали: «Как ваш сынок?», – а теперь все про дела, будто и не было у меня никогда Коли. И вот как-то меня попросил зайти наш Виктор Валентинович. Я вошел к нему, стою, жду, а он какой-то сам не свой, принялся ходить по комнате, попросил присесть, долго молчал. Потом пробормотал: «Право, даже не знаю, как начать этот разговор. Видите ли, дело в том, что ваш сын...» Я перебил его: «Да, мой Коля осужден, но он ни в чем не виноват, это ошибка, он сам себя оклеветал!» – «Да подождите вы! – он положил передо мной какую-то бумагу. – Ваш сын сбежал». Я

долго не мог после этого прийти в себя. Виктор Валентинович поднес мне воды, положил руку на плечо, сказал: «Крепитесь», еще что-то. Потом стал говорить, что, вполне вероятно, Коля рано или поздно вернется домой, что он, как бы то ни было, опасный преступник и что я как порядочный человек, в честности которого никто не сомневается, как только Коля появится, дам знать. «Да-да, конечно», – я был как во сне, кивнул головой и пошел писать дальше. И вот с того дня сколько уже времени прошло, а Коли все нет. Иногда выглянешь вечером за окно, и кажется, он где-то тут, рядом, в темноте, за деревьями. Прячется, боится выйти. Открываю форточку и зову негромко, чтобы никто, кроме него, не услышал: «Коля! Коля!»

Не обращайтесь на меня внимания, Евгений. Александрович, это я просто вспомнила вчерашнее. И смех и грех. Знаете Жданова? Ну, вы видели его у нас, седьмая вода на киселе и ужасный самовлюбленный дурак. Так получилось, что я была дома одна: муж уехал на инспекцию, Сашенька у бабушки, Вова уже два месяца как в училище. Вдруг приходит Жданов. «Ларочка, – говорит с наглой ухмылкой, – я пришел овладеть вами!» – «Что это, Жданов? Вас мучает страсть? Вот уж не думала, что я роковая женщина!» – «Страсть? Отнюдь. Просто в наших с вами беседах вы так много говорили о нравственности, что это будет моим последним аргументом в нашем споре. Я пришел лишь для того, чтобы искусить вас и ввести в грех, не более». «Но вы же, – говорю ему, – отвратительны, Жданов!» – «Поверьте, это не имеет никакого значения!» – и полез мне под юбку. Я хотела засмеяться, влить затрецину, вылить на его плешивую голову воду из вазы, но на меня напала вдруг какая-то апатия, лень. Не могу объяснить, все произошло как-то само собой, причем я ничего не испытывала, абсолютно ничего. Жданов же кряхтел, сопел, утробно рычал. Потом улегся поперек кровати, свалив набок свой живот, и закурил. Я ему: «Какой вы все-таки нахал, Мишенька! А я вот захочу и влюблюсь в вас!» А он: «О чем вы? Я жену люблю, детей». Докурил и снова подползает. Вдруг в прихожей шум. Я не пойму, кто бы это мог быть, а на пороге уже стоит муж. Как говорится, немая сцена. Наконец Жданов говорит: «Ну, мне пора!» — и стал натягивать носок. Муж вдруг проямлил каким-то чужим, старушечьим голосом: «Ты разве не видела телеграмму? Я оставил у зеркала. Сегодня приезжает Вова, ему дали увольнение». – «Да вот он идет!» – сказал Жданов и ткнул пальцем в окно. И правда, Вова открывал калитку, в форме, подтянутый, взрослый, красивый. Мы бросились одеваться. Жданов никак не мог найти второй носок, так и натянул ботинок на босу ногу. Муж застилал кровать. Я не успела даже толком надеть платье, не то что причесаться! Вова сразу бросился мне на шею, потом стал обниматься с отцом, потом обнял Жданова: «Дядя Миша! Господи, как я рад, что и вы здесь! Как я вас всех люблю!» Схватил блюдо с пирожками и принялся, бедный ребёнок, запихивать в рот один за другим. Я расплакалась, без конца целовала колючий затылок, загрубевшие руки, покрывшиеся прыщами щеки, пропотевшую гимнастерку. Жданов хотел уйти, но Вова не отпустил его: «Нет-нет, дядя Миша, вы останетесь с нами обедать!» Вова без умолку рассказывал про казарму, про идиотов-командиров, про то, что все нужно есть ложкой, а за яблоко на десерт чуть ли не драться. Мы втроем вели себя так, будто ничего особенно го только что не произошло. А может, и действительно ничего страшного не было. Вова не допил свою чашку, вскочил из-за стола, плюхнулся на диван, закрыл глаза и вздохнул: «Боже, как хорошо!»

Да-да, вы совершенно правы, нет ничего страшного! Вот через меня проходило одно пустячное дело о растрате. Там, понимаете, растратился кассир, солидный такой, порядочного вида мужчина. Он отрицал напрочь обвинения, говорил, что его подставил

вор-начальник, и вообще вел себя так, как вел бы себя любой честный, оскорбленный подозрениями человек. Все шло к оправданию. Защита предъявила безукоризненные характеристики, похвальные листы за долголетнюю честную службу. К этому человеку еще располагало то, что в зале в первом ряду сидела его жена и трое одинаково одетых мальчиков. Отец время от времени подбадривал их, громко говорил через весь зал, чтобы они не плакали, что его обязательно оправдают, потому что правда на свете есть, не может не быть. По сути все дело свелось к одной-единственной записке в несколько строк, предъявленной следствием. Она была якобы написана обвиняемым и являлась доказательством его вины. На суд специально вызвали из Москвы самого Буринского, знаменитого эксперта. От его заключения все и зависело. И вот на третий, кажется, день дошло дело до экспертизы. Встал Буринский – суровый, необъятный, величественный, выше всех на две головы. Его шевелюре и бороде позавидовал бы сам Робинзон. Все затаили дыхание, глядя на знаменитость. Он выдержал паузу и зычно рявкнул: «Вот это – записка, – тут Буринский потряс листком бумаги над головой. – Вот это – образец почерка, – он потряс другим листком. – А вот это – мое заключение. Этот человек – невиновен!» Что тут началось! В зале захлопали, стали чуть ли не обниматься. А Буринский занял свое место и принялся с равнодушным видом разгребать бороду. Оставались какие-то формальности. Записка, письмо, взятое за образец почерка, и акт экспертизы легли на мой секретарский стол. И тут я даже глазам своим не поверил. И то и другое написано было одним и тем же человеком. «Подождите! — закричал я. — Да вы что, это же одна рука!» Я почувствовал на себе глаза всего зала. «Да вы взгляните только: вот и вот!» Буринский, отбросив за плечи седые пряди, удивленно спросил: «Что вы, собственно, имеете в виду?» – «Да вот же, неужели вы не видите? – стал объяснять я. — Ну, возьмите хотя бы взмахи пера. В почерке ведь самое главное – связь букв, ее нельзя ни подделать, ни изменить. Взгляните только на эти Т, П, Н – они же все выведены попочкой вниз, как И. Причем, поверьте, это верный графологический признак доброты, открытости, душевной мягкости. Напротив, эти же буквы, написанные арочками, выдают скрытность, лживость. Обратите внимание, – продолжал я, – и в записке, и в письме – нетвердый нажим. Дело в том, что едва коснувшись листа, перо встречает сопротивление бумаги, и между ними начинается сразу невольная борьба. Вдавленное в бумагу перо отражает внутренний натиск, своенравие, упорство, страсть к противостоянию, воинственность. Здесь же, наоборот, рука уступчива – верный признак восприимчивости, впечатлительности, чуткости, деликатности, такта. И здесь и там буквы некрупные – это чувство долга, самоограничение, любовь к домашнему кругу. А еще отметьте упитанность букв, открытость кверху гласных – все вместе свидетельствует о доверчивости, миролюбии, развитой способности к сочувствию и глубокой привязанности. Более того, смею утверждать, что человек этот обладает и вкусом, и чувством красоты. Взгляните только на изящные, но лишённые каких-либо украшений заглавные, на широкое, почти стихотворное левое поле, на красную строку, что начинается чуть ли не посередине листа. Буквы одна с другой почти не связаны – это созерцательность, возвышенность, оторванность от обыденности, богатство мыслей. Подпись без каких-либо завитушек – ум. О, перед нами незаурядный человек — посмотрите только на удивительную своеобразную форму букв – и разве они, помимо всего прочего, не выдают с головой единое отцовство и аккуратного письма, и неряшливой записки?! Чисто внешняя, поверхностная несхожесть объясняется просто: записка писалась в темноте – вот откуда сплетение неровных строк, слепая неразбериха выросших внезапно букв и слов. Ведь даже минутного внимательного

взгляда на эти буквы достаточно, чтобы убедиться в их родстве, – перед нами же чернильные братья и сестры, одноперьевые близнецы! Чего стоит только вот эта точка над «і», с разбега соскользнувшая в вопросительный знак! И разве можно спутать вот эту заграничную, пришпиленную булавкой К? Или вот эту Б, что все норовит подцепить ближнего? А Ц, вы приглядитесь к этой жидовочке, умыкнутой Кириллом из Соломоновой азбуки, – сколько грации в крутой линии выставленного бедра!» Они все молчали в каком-то оцепенении, а я все говорил и говорил, не в силах остановиться: «Без сомнения, писавший – натура неординарная, даже, скорее, творческая – вот откуда эта сбивчивость, беспокойство духа, полное отсутствие ритма, который есть душевная сытость, разлитая еще пока вовне смерть. Огромная, не знающая себя жизненная сила круто поднимает концы строчек вверх. Надстрочные и подстрочные вытягиваются, вырываются, пытаются разодрать слово от досады за неделанное, невоплощенное, упущенное!» Тут Буринский поднялся со своего места. Он пошел к дверям, на ходу надевая шляпу, а когда поравнялся со мной, бросил сквозь зубы: «Дурак!» Как бы то ни было, суд назначил повторную экспертизу, и конечно же признали, что записку писал кассир. Его осудили, а после заседания, когда все одевались в гардеробе, ко мне подошел судья и сказал: «А Бог вас накажет, вот увидите!» И ничего, живу. Живу, дышу, ем, извожу каждый день уйму бумаги. По-прежнему перо мое скрипит, казнит и милует. Что ж в том такого? Вполне предполагаю, что вот сейчас, в эту самую минуту, он скулит от голода, или мерзнет, или его насилуют, выбив все зубы, сокамерники, или вовсе его уже нет в живых, лежит где-нибудь в морге с биркой на большом пальце, или просто выцвел от времени, написанный дешевыми чернилами. И нет в этом ничего страшного. Боже мой, да чем он лучше меня или хоть вас, чтобы жалеть, потому что не было еще такого дела, пусть самого длинного и запутанного, в конце которого перо не поставило бы, поскольку больше ничего не будет, точку.